



Казимир Валишевский  
**Екатерина Великая.**  
**(Роман императрицы)**

«Public Domain»

«Автор»

1934

## **Валишевский К. Ф.**

Екатерина Великая. (Роман императрицы) / К. Ф. Валишевский —  
«Public Domain», «Автор», 1934

Историческое сочинение «Роман императрицы» польско-французского историка Казимира Валишевского на сегодняшний день является одним из наиболее увлекательных описаний жизни императрицы Екатерины Великой и истории России во времена ее правления. Текст произведения представлен в новой редакции и в современной орфографии.

© Валишевский К. Ф., 1934

© Public Domain, 1934

© Автор, 1934

# Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
КНИГА ПЕРВАЯ	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
Глава 1	7
Глава 2	12
Глава 3	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Казимир Валишевский

## Роман императрицы (Екатерина Великая)

### ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом вниманию читателей романе вымысел полностью отсутствует. Даже легендарные элементы занимают в нем лишь строго отведенное место, в котором нельзя им отказать при желании вызвать к жизни точную картину прошлого. Мы полагаем, однако, что как любопытство читателя, так и его интерес к приключениям будут удовлетворены.

Вторая половина восемнадцатого века, мрачная и бурная как вечер, насыщенный грозой, была озарена ослепительным видением. Далеко в снегах таинственного Севера занимался свет, подобно восходящей звезде. Над повергнутыми в прах старинными европейскими монархиями возносился трон с византийскими очертаниями, окруженный небывалым величием, и по ступеням его всходила женщина в красном сиянии, цвета пурпура или крови. Она царствовала, сосредоточив вокруг себя все величие, все счастье и все торжество, а со всех концов Европы поднимался гул удивления и восторга, смешивавшийся с раскатами разразившейся вскоре бури. Поэты воспевали «северную Семирамиду», философы утверждали, что «свет идет с севера», а изумленная толпа восторженно рукоплескала. Победоносная за границами своей империи, Екатерина внушала и внутри ее сперва уважение, затем и любовь к себе. В ней воплощались неосознанные еще гений и сила огромного народа; славянская раса неожиданно пышно в ней расцвела и внезапно устремилась гигантскими шагами по пути к величавому своему уделу.

Однако история нам указывает, что эта обаятельная государыня, эта женщина, пред которой преклонялись все державы цивилизованного мира, эта «матушка-царица», коленопреклоненно, как икона, чтимая миллионами крестьян, была маленькой немецкой принцессой, попавшей в Россию благодаря случайности. Горстка смелых молодых людей возвела ее на место, откуда она, казалось, диктовала законы всему.

Это необычайное происшествие не раз уже рассказано, и не одна рука пыталась начертать образ необыкновенной женщины, игравшей в нем главную роль. Этим попыткам недоставало лишь одного, – того, что не в силах заменить собою и талант писателя: твердой документальной основы. За неимением этой опорной точки, дело воссоздания, двадцать раз начатое, двадцать же раз обрушивалось в пустоту и граничило с басней. Час истории в то время еще не настал. Он пробил только теперь. В России и отчасти в Германии историческое прошлое великой славянской империи стало предметом изучения; под эгидой более либерального режима было в первый раз дозволено исследователям подняться до первоисточников. Государственные архивы распахнули свои двери, и частные лица, следуя примеру, данному сверху, поддерживали усилия науки, предав гласности тайны своих хранилищ. Таким образом увидели свет столь драгоценные архивы князей Воронцовых. Вследствие естественного порыва, помянутые исследования коснулись главным образом личности Екатерины и великой эпохи, отмеченной ее именем. Результаты почти не оставляют желать ничего лучшего. Более пятидесяти томов сборника, издаваемого Императорским Русским Историческим Обществом, имеют к ней прямое отношение. В различных других коллективных изданиях Екатерина все же занимает первенствующее место.

Все эти элементы научного анализа, отныне столь обильные, требуют синтеза. Он и был уже предпринят в России. Тонкий писатель, В. А. Бильбасов, издал первый том труда, который,

к сожалению, ему пришлось прервать. Екатерина, может быть, еще долго будет ожидать своего историка в стране, обязанной ей самыми славными страницами своей истории. Приступив к предлагаемому труду, появившемуся сначала во Франции, мы не намереваемся предвосхитить задачу, которая, мы надеемся, когда-нибудь будет приведена в исполнение в России. Мы попытались закрепить на этих страницах некоторые общие черты, которые в лице, подобном Екатерине, несомненно, заинтересуют образованное общество всех стран. Женщина, принимавшая участие во всех великих событиях своей эпохи, имевшая сношения со всеми выдающимися людьми своего времени, долго переписывавшаяся с Вольтером и бывшая в дружеском общении с Дидро, прожившая, наконец, с точки зрения умственной, нравственной и даже чувственной, жизнь редкую по полноте, разнообразию и богатству ощущений, подобная женщина не может нигде встретить равнодушного к себе отношения.

Это еще не все. Эта женщина – *русская* государыня, с которой современная Россия, столь жадно изучаемая в настоящее время и все же столь загадочная, находится в прямой непосредственной связи. Действительно, Екатерина по приезде в свое новое отечество сумела с изумительной гибкостью примениться к новой среде, в которой ей приходилось отныне жить; но, в свою очередь, Екатерина и на среду эту произвела взаимное действие; она во многих отношениях вылепила ее по своему образцу и наложила на нее неизгладимую печать своей могучей личности. Чтобы проникнуть в тайну великой политической и социальной организации, огромную тяжесть которой уже начинает чувствовать Европа, следует прежде всего обратиться к Екатерине; современная Россия в большей своей части является лишь наследием великой государыни; к ней же следует обращаться для проникновения в тайны некоторых русских душ: в каждой из них кроется нечто, свойственное Екатерине Великой.

Материалы, которыми мы пользовались, почти недоступны большой европейской публике. Доступ к ним загражден не только малоизвестностью языка, но и разбросанностью их по разным сборникам, названия которых даже неизвестны. Мы дополнили их личными изысканиями в различных архивах, в особенности в столь богатых во всех отношениях архивах Министерства иностранных дел во Франции.

Что касается духа, одушевляющего наш труд, я надеюсь, что всем станет ясно, что мы решительно ступевывались перед собранными нами свидетельствами, заботясь лишь о проверке их подлинности и степени их значения. Нам сдается, что настал час, когда голос их может быть всюду услышан и должен быть терпим. Через год пройдет уж целое столетие над могилой Екатерины. На этом расстоянии и на вершине, на которую потомство поставило ее память, история может делать свое дело, не причиняя ни обиды, ни вреда кому бы то ни было. Что бы она ни сделала, она лишь прибавит один барельеф к памятнику, воздвигнутому восторгом и благодарностью великого народа одному из предметов величайшей своей славы. Вольтер, пожалуй, пошел слишком далеко, утверждая, что «у потомства никогда не будет недоразумений с его императрицей». Но он мог с полным правом предполагать, что чувство уважения будет вечно лежать в основе тех законных поправок, которые историческая критика сочтет своим долгом внести в иллюзии, ошибки и увлечения далекого прошлого.

# КНИГА ПЕРВАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОТ ШТЕТТИНА ДО МОСКВЫ

### Глава 1 Немецкая колыбель. Детство

#### I

Лет пятнадцать тому назад маленький уголок старинного немецкого городка был охвачен волнением: предполагалось выстроить в этой местности железную дорогу, которая по обыкновению нарушала укоренившиеся привычки, разрушала старые дома и уничтожала сады, где гуляло несколько поколений подряд. Среди предметов, которым угрожало бессердечие инженеров, возбуждавшее отчаяние местных жителей, была липа весьма почтенного вида; она, казалось, была предметом специального культа и особенно жгучих сожалений. Все-таки железная дорога была проведена. Липу не срубили, но ее вырыли из уголка земли, где она пустила корни, и пересадили в другое место. С целью оказания ей большего почета ее посадили против нового вокзала. Она оказалась равнодушной к подобной чести и засохла. Из нее сделали два стола: один из них преподнесли королеве прусской Елизавете, а другой – русской императрице Александре Федоровне. Жители Штеттина называли эту липу «императорской» (Kaiserlinde); если верить их словам, она была посажена немецкой принцессой, называвшейся тогда Софией Ангальт-Цербстской, а в просторечии Фигхен (Figchen). Принцесса охотно играла на большой городской площади с резвившимися здесь детьми; впоследствии же, – они хорошенько и не знали, как это случилось, – она превратилась в императрицу Всероссийскую под именем Екатерины Великой.

Екатерина действительно провела часть своего детства в этом старом померанском городке. Увидела ли она в нем также свет? Редко случалось, чтобы место рождения великих людей современной истории вызывало те же споры, что возникли в прежние времена вокруг колыбели Гомера. Следовательно, происшедшее в этой области относительно Екатерины является одной из особенностей ее судьбы. Ни в одной приходской книге в Штеттине не сохранилось и следа ее имени. Тот же факт повторился и с принцессой Вюртембергской, супругой Павла I, но ему можно подыскать объяснение; ребенка, вероятно, окрестил священнослужитель лютеранской церкви, ректор или президент, не причисленный к приходу. Однако нашлась одна заметка, казавшаяся подлинной и основательной и указывавшая на Дорнбург как на место рождения и крещения Екатерины, и весьма серьезные историки приводили эти данные в связи с самыми странными предположениями. Дорнбург был родовой резиденцией дома Ангальт-Цербст-Дорнбург – именно семьи Екатерины. Не жила ли там ее мать некоторое время около 1729 г. и не приходилось ли ей часто встречаться с молодым принцем, которому едва исполнилось 16 лет и который недалеко оттуда вел угрюмую жизнь в обществе своего мрачного отца? Немецкий историк Зугенгейм не побоялся указать на этого молодого принца, известного впоследствии под именем Фридриха Великого, как на «отца инкогнито Екатерины».

Письмо принца Христиана-Августа Ангальт-Цербстского, официального отца Екатерины, по-видимому, лишает это смелое предположение всякого правдоподобия. Оно помечено 2-м мая 1729 г., написано в Штеттине, и принц объявляет в нем, что в тот же день, в два с половиной часа ночи у него родилась дочь в *этом городе*. Эта дочь не может быть иная, чем та, о которой идет речь. Христиан-Август не мог не знать, где родятся его дети, хотя, может быть, он и не был достаточно осведомлен о том, каким образом они появлялись на свет. Существуют еще и другие доводы. Ничем не доказано, что Дорнбург принимал в своих стенах мать Екатерины незадолго до рождения последней; скорее даже вполне достоверно доказано обратное. Принцесса Цербстская, оказывается, провела часть 1728 года очень далеко и от Дорнбурга и от Штеттина, а именно, в Париже. Как известно, Фридрих никогда не был в Париже. Он даже чуть не поплатился головой за одно желание его посетить, как недавно рассказал историк Лависс со свойственным ему тонким талантом.

Но воображение историков, даже немецких, неиссякаемо. За отсутствием Фридриха, в 1728 г. в русском посольстве в Париже находился молодой человек, незаконный сын знатной семьи, несомненно посещавший принцессу Ангальт-Цербстскую. Следовательно, мы опять попали на след другого романа и другого предполагаемого отца. Этот молодой человек именовался Бецким и стал впоследствии знатным вельможей. Он умер в Петербурге в очень преклонном возрасте; говорят, что, посещая этого старца, которого она окружала заботами и нежным попечением, Екатерина наклонялась над его креслами и целовала его руку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы немецкий переводчик «Воспоминаний» Массона пришел к убеждению, которое мы, однако, не можем разделить. Таким образом, пожалуй, не окажется во всей истории восемнадцатого века ни одного знатного рождения, которое не давало бы пищи аналогичным предположениям.

Мы не станем их дальше оспаривать. Женщина, носившая впоследствии имя Екатерины Великой, по-видимому, родилась в Штеттине, и ее родители по закону и, насколько нам известно, по природе были: принц Христиан-Август Цербст-Дорнбург и принцесса Иоанна-Елизавета Гольштинская, его законная супруга. Наступило время, как мы увидим, когда малейшее деяние этого ребенка, столь скромно вступившего в жизнь, было отмечено самыми достоверными числами, и жизнь его прослежена день за днем, почти час за часом. Это послужило ей отмщением и вместе с тем мериллом пути, пройденного ее лучезарной судьбой.

Но что представляло в 1729 г. рождение маленькой принцессы Цербстской? Княжеская семья этого имени – одна из тех, которыми Германия кишела в то время, – являлась ветвью Ангальтского дома, насчитывавшая их восемь. До того времени, как неожиданное счастье озарило его небывалым сиянием, ни одно из разветвлений этого корня не потревожило эхо славы. Вскоре окончательное пресечение всего рода подрезало эти зачатки известности. Не имев истории до 1729 г., Ангальт-Цербстский дом перестал существовать в 1793 г.

## II

Родители Екатерины не жили в Дорнбурге. Заботы направили их в другое место. Отец ее должен был зарабатывать свой хлеб (он родился в 1690 г.) и принужден был поступить на службу в прусскую армию. Он воевал с Нидерландами, с Италией, с Померанией, со Швецией и Францией. Тридцати одного года он заслужил эполеты генерал-майора; тридцати семи лет он женился на принцессе Иоанне-Елизавете Гольштейн-Готторпской, младшей сестре того самого принца Карла, который чуть было не сел на российский престол рядом с Елизаветой и в лице которого она вечно оплакивала обожаемого жениха. В этом заключалось какое-то предопределение. Христиан-Август, назначенный командиром пехотного Ангальт-Цербстского полка, должен был отправиться в Штеттин, чтобы принять над ним командование. То была настоящая гарнизонная жизнь.

Христиан-Август был образцовым супругом и отцом. Он очень любил своих детей. Но, ожидая сына, он был сильно разочарован, когда родилась Екатерина. Первые годы детства Екатерины были этим омрачены. Когда принялись заниматься этим периодом ее жизни, – а заинтересовались им впоследствии страстно, – воспоминания свидетелей его значительно потускнели. Сама она неохотно их освежала, отвечая с непривычной ей скрытностью на предлагаемые ей по этому поводу вопросы. «Я не вижу тут ничего интересного», писала она Гримму, самому смелому ее вопрошателю. Впрочем, и ее воспоминания не отличались точностью. «Я родилась, – говорила она, – в доме Грейфенгейма, на *Mariekirchenhof*». Однако в Штеттине нет и никогда не было дома этого имени. Командир 8 пехотного полка жил на *Dom-Strasse*, в доме № 791, принадлежавшем председателю коммерческого суда в Штеттине, фон Ашерлебену. Квартал, где находилась эта улица, назывался Грейфенгаген (*Greifenhagen*). Дом переименовал и номер и владельца. Он принадлежит теперь советнику Дэвицу и помечен № 1-м. На одной выбеленной стене замечается черное пятно, являющееся единственным следом, оставленным пребыванием великой императрицы, – то следы дыма от жаровни, зажженной 2 мая 1729 г. около колыбели Екатерины. Сама колыбель исчезла. Она находится в Веймаре.

Названная при крещении Софией-Августой-Фредерикой, в честь трех ее теток, Екатерина для всех была просто *Figchen* или *Fichchen*, как писала ее мать, – по-видимому, уменьшительное от слова *Sophiechen*. Вскоре после ее рождения родители ее переселились в штеттинский замок, заняв левое его крыло, находившееся возле церкви. Фигхен были отведены три комнаты; из них одна – ее спальня – была рядом с колокольней. Таким образом ей представилась возможность подготовить свой слух к оглушительному трезвону православных церквей. Может быть, само Провидение это устроило! Там она росла и воспитывалась, весьма просто. Штеттинские улицы действительно были свидетельницами ее игр с детьми местной буржуазии, ни один из которых, несомненно, и не думал величать ее по титулу. Когда матери этих детей посещали замок, Фигхен выходила им навстречу и почтительно целовала полу их платья. Таково было желание ее матери, имевшей иногда мудрые мысли. Это, впрочем, случалось с ней нечасто.

Однако у Фигхен было много учителей, кроме особой приставленной к ней гувернантки, – конечно, француженки. В то время в каждом более или менее значительном немецком доме были французские гувернеры и гувернантки. Это явление было одним из косвенных следствий отмены Нантского эдикта. Они преподавали французский язык, французские изысканные манеры и любезности. Они учили тому, что сами знали, а большинство кроме этого ничего и не знало. Таким образом и у Фигхен появилась мадемуазель Кардель. Кроме того, у нее были французский капеллан Перо (*Péraud*) и учитель чистописания, тоже француз, Лоране (*Laurent*). Несколько местных учителей дополняли собой этот довольно обильный педагогический персонал. Некий Вагнер обучал Фигхен родному языку. Музыкой занимался с ней также немец, Религ (*Roellig*). Впоследствии Екатерина вспоминала первых воспитателей своей юности с чувством умиленной благодарности, но с примесью некоторого шаловливого юмора. Она, однако же, отводила особое место мадемуазель Кардель, «знавшей почти все, хотя сама она никогда не училась, почти как и ее ученица», говорившей ей, что у нее «неповоротливый ум», и каждый день напоминавшей ей, чтобы она опускала свой подбородок. «Она находила, что он необыкновенно длинен, – рассказывала Екатерина, – и думала, что, вытягивая его вперед, я рискую толкнуть им встречаемых людей». Добрая мадемуазель Кардель, вероятно, не подозревала, какие встречи выпадут на долю ее ученицы! Однако она не только выправляла ее ум и заставляла ее опускать подбородок: она давала ей читать Расина, Корнеля и Мольера и отвоевывала ее от немца Вагнера, его немецкой педантичности, его померанской неповоротливости и от нелепости его «*Prüfungen*», оставивших по себе ужасное впечатление в душе Екатерины. Несомненно, она сообщила ей и долю своего ума – ума парижанки, сказали бы мы сегодня, живого, острого и непосредственного. Сказать ли? Она, по-видимому, оказала ей еще боль-

шую услугу, спасая ее от ее матери и не только от пощечин, расточаемых ею будущей императрице по каждому самому пустячному поводу, повинуюсь «не разуму, а настроению», а главным образом от духа, присущего супруге Христиана-Августа, которым она заражала всех окружающих и с которым мы познакомимся впоследствии: духа интриги, лжи, низких инстинктов, мелкого честолюбия, отражавшего в себе целиком душу нескольких поколений германских мелких князьков. В общем мадемуазель Кардель вполне заслужила меха, присланные ей ее ученицей по приезду ее в Петербург.

Важным дополнением к обставленному таким образом воспитанию служили частые путешествия Фигхен и ее родителей. Жизнь в Штеттине не представляла ничего привлекательного для молодой женщины, жаждавшей веселья, и молодого полкового командира, изъездившего пол-Европы. Поэтому предлоги к путешествиям всегда принимались с радостью, а их было немало при наличии большой семьи. Ездили в Цербст, в Гамбург, в Брауншвейг, в Эйтин, встречая всюду родных и не роскошное в общем, но радушное гостеприимство. Доезжали и до Берлина. В 1739 г. принцесса София впервые увидела в Эйтине того, у кого ей суждено было вырвать полученный ею престол. Петру-Ульриху Голштинскому, сыну двоюродного брата ее матери, было тогда одиннадцать лет, а ей десять.

Эта первая встреча, прошедшая тогда незаметно, не произвела на Фигхен благоприятного впечатления. По крайней мере, она утверждала это впоследствии в своих воспоминаниях. Он показался ей тщедушным. Ей сказали, что у него был скверный характер и – что кажется почти невероятным – что он имел уже пристрастие к спиртным напиткам. Другое путешествие как будто оставило более глубокий след в ее молодом воображении. В 1742 и 1743 г. в Брауншвейге, у вдовствующей герцогини, воспитавшей ее мать, католический каноник, занимавшийся хиромантией, рассмотрел на ее руке три короны и не увидел ни одной на руке хорошенькой принцессы Бевернской, которую в то время старались выдать хорошо замуж. В поисках мужа наткнуться на корону – вот в чем состояла мечта, общая всем этим немецким принцессам!

В Берлине Фигхен увидела Фридриха, но он не обратил на нее внимания; а она, в свою очередь, им не занималась. Он был великим королем и стоял на пороге великолепной карьеры; она была лишь девочкой, по-видимому, предназначенной украшать собой микроскопический двор, затерянный в каком-нибудь уголке империи.

В общем, таковы были воспитание и вступление в жизнь всех немецких принцесс того времени. Впоследствии Екатерина не без некоторой рисовки подчеркивала пробелы и недостатки этого воспитания. «Что ж? – говаривала она, – меня воспитывали, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь мелкого соседнего принца, и соответственно этому меня и учили всему, что тогда требовалось. Ни я, ни мадемуазель Кардель ничего этого не ожидали». Баронесса Принтен, статс-дама принцессы Цербстской, говорила, не обинуясь, что, пристально следя за ходом учения и успехами будущей императрицы, она не обнаружила в ней никаких особенных качеств и дарований. Она предполагала, что Екатерина будет «заурядной женщиной». Мадемуазель Кардель также не подозревала, по-видимому, что, поправляя тетради своей ученицы, она является, как однажды выразился восторженный Дидро, «подсвечником, носящим свет ее эпохи».

### III

Однако в этой скромной жизни было нечто, что приближало принцессу Софию к ее будущей судьбе. Она была лишь маленькой немецкой принцессой, воспитывавшейся в маленьком немецком городе, окруженном жалким, печальным, песчаным горизонтом. Но близкое соседство бросало на него гигантскую тень, принимавшую вид привидения или чарующего миража. В этой провинции еще незадолго до того по городу расхаживали солдаты, показывая странные

мундиры и нарождающийся престиж державы, недавно появившейся в Европе и внушавшей уже удивление и ужас, возбуждавшей беспредельные опасения или надежды. В самом Штеттине подробности осады, которую недавно пришлось выдержать от великого *Белого царя*, оставались у всех в памяти. В семье Фигхен Россия, огромная и таинственная Россия, ее бесчисленное войско, неисчерпаемые богатства, самодержавные ее государи служили беспрестанной темой интимных разговоров, к которым присоединялась, может быть, и некоторая доля вождений и даже смутное предчувствие. Почему же нет? Вследствие браков, соединивших дочь Петра I с принцем Голштинским, внучку Иоанна, брата Петра, с герцогом Брауншвейгским, целая сеть взаимных нитей и притяжений образовалась между великой северной державой и многочисленным племенем хилых немецких княжеств. Семья Фигхен оказалась особенно втянутой в эту сеть. Когда в 1739 г. в Эйтине Фигхен встретила своего троюродного брата Петра-Ульриха, она узнала, что мать его была русской царевной, дочерью Петра Великого. Она узнала и историю другой дочери Петра Великого, Елизаветы, едва не ставшей невесткой ее матери.

Вдруг разнеслась весть о восшествии на престол этой самой принцессы, печальной невесты принца Карла-Августа Голштинского. 9 декабря 1741 г. Елизавета посредством одного из переворотов, становившихся частыми в истории северной дворцовой жизни, положила конец царствованию маленького Иоанна Брауншвейгского и регентству его матери. Каков же должен был быть отклик этого события в семейном кругу, где росла Екатерина! Разлученная жестокою судьбой с избранным ею супругом, новая императрица сохранила не только о молодом принце, но и о всей его семье трогательное воспоминание. Незадолго еще до того она просила прислать портреты братьев покойного принца. Очевидно, она не могла забыть и его сестры. В то время мать Фигхен несомненно припомнила предсказание каноника-хироманта. Как бы то ни было, она не замедлила написать своей двоюродной сестре и принести ей свои поздравления. Ответ на них способен был поощрить нарождающиеся надежды. Елизавета ответила не только любезно, но и нежно, объявляя себя очень тронутой вниманием, и просила прислать портрет своей сестры, принцессы Голштинской, матери принца Петра-Ульриха. Она, по-видимому, собирала коллекцию портретов; не крылось ли в этом какое-то таинственное указание?

Тайна вдруг разоблачилась. В январе 1742 г. принц Петр-Ульрих, «чертушка», как обыкновенно звала его императрица Анна Иоанновна, которую беспокоило его слишком близкое родство с русским царствующим домом, маленький троюродный брат, мельком виденный Фигхен, исчез из Киля и появился через несколько недель в Петербурге: Елизавета вызвала его, чтобы объявить своим наследником.

Это событие не оставляло места сомнениям. В России, бесспорно, взяла верх голштинская кровь, кровь матери Фигхен, и восторжествовала она над брауншвейгской кровью. Голштиния или Брауншвейг, потомство Петра Великого или потомство его старшего брата Иоанна, умерших без прямых наследников мужского пола, – вся история русского царствующего дома с 1725 г. заключалась в этой дилемме. По-видимому, торжествовала Голштиния, и тотчас же счастье нового императорского принца, едва установившись, начало уже отражаться на его скромных родственниках в Германии. Лучи его достигли и Штеттина. В июле 1742 г. отец Фигхен был возведен Фридрихом в чин фельдмаршала – это была любезность, по-видимому, по адресу Елизаветы и ее племянника. В сентябре секретарь русского посольства в Берлине привез самой принцессе Цербстской портрет государыни, обрамленный великолепными бриллиантами. В конце того же года Фигхен отправилась с матерью в Берлин, где знаменитый французский художник Пэн написал ее портрет. Фигхен знала, что этот портрет должен быть отправлен в Петербург, где любоваться им будет не одна императрица.

Однако прошел целый год, не принеся с собой более решительных событий. В конце 1743 г. вся семья оказалась в сборе в Цербсте. Вследствие пресечения старшей ветви, незадолго перед тем цербстский престол перешел во владение родного брата Христиана-Августа. Весело отпраздновали Рождество среди небывалого комфорта и веселых предположений насчет буду-

щего, не говоря уж о более смелых мечтаниях. Не менее весело начали и новый год, когда эстафета, прискакавшая во весь опор из Берлина, заставила вскочить со своих стульев не только порывистую Иоанну-Елизавету, но и ее более положительного супруга. На этот раз оракулы были правы, и хиромантия торжествовала блестящую победу: эстафета привезла письмо от Брюммера, гофмейстера великого князя Петра, бывшего Петра-Ульриха Голштинского, и письмо это, адресованное на имя Иоанны-Елизаветы, приглашало ее немедленно пуститься в дорогу вместе со своей дочерью, чтобы посетить императорский двор либо в Петербурге, либо в Москве.

## Глава 2 Прибытие в Россию. Свадьба

### I

Брюммер был старинный знакомый принцессы Иоанны-Елизаветы. Он был гувернером великого князя и, по всей вероятности, сопровождал своего воспитанника и в Эйтин. Письмо его было пространно и исполнено подробными указаниями. Принцессе следовало собраться возможно скорее, и свита ее, сокращенная до минимума, должна была состоять из одной статс-дамы, двух горничных, одного офицера, повара и двух или трех лакеев. В Риге ее будет ожидать приличная свита, которая и проводит ее до места пребывания двора. Ее мужу было строго воспрещено ее сопровождать. Ей надлежало хранить цель своего путешествия в глубокой тайне. На расспросы ей следовало отвечать, что она едет к императрице, чтобы поблагодарить ее за оказанные ей милости. Ей разрешалось, однако, открыться Фридриху II, которому все было известно. К письму был приложен чек на одного берлинского банкира, предназначенный на покрытие путевых расходов. Сумма была скромная: 10 000 р., но, по словам Брюммера, важно было не возбуждать подозрений присылкой более значительного куша. Переступив границу России, принцесса ни в чем нуждаться не будет.

Само собой разумеется, что Брюммер посылал это приглашение, похожее на приказание, и властные инструкции от имени императрицы. Впрочем, он не пояснял намерений государыни. Другой человек взял на себя этот труд. Через два часа после приезда первого курьера прискакал второй и привез письмо от прусского короля. Фридрих все объяснял. Он, впрочем, приписывал себе решение, принятое Елизаветой, остановившей свой взор на молодой принцессе Цербстской. Он в это дело действительно вмешался, и вот каким образом.

Матримониальные вожеления, конечно, не замедлили возгореться вокруг «чертушки», ставшего наследником лучезарной короны. Вскоре, начиная с бывшего гувернера великого князя, немца Брюммера, и кончая лейб-медиком императрицы, французом Лестоком, каждое лицо, игравшее роль при дворе, превосходившем по интригам все дворы Европы, имело свою кандидатуру и партию, поддерживавшую ее. Заходила поочередно речь о французской принцессе, о саксонской принцессе, дочери польского короля, о сестре короля прусского. Саксонский проект, поддерживаемый всемогущим канцлером Бестужевым, имел одно время наибольшие шансы на успех.

«Саксонский двор, – писал впоследствии Фридрих, – будучи раболепным слугой России, намеревался пристроить принцессу Марианну, вторую дочь польского короля, с целью усилить свое влияние... Русские министры, настолько алчные, что они, кажется, способны были бы торговать самой императрицей, продали преждевременно свадебный контракт: они получили щедрые дары, а король польский лишь слова...»

Принцесса Саксонская была шестнадцати лет от роду; она была тщательно воспитана и представляла подходящую партию; к тому же этот брак должен был служить основанием

обширной комбинации, имевшей целью, согласно замыслам Бестужева, соединить Россию, Саксонию, Австрию, Голландию и Англию, т. е. три четверти Европы, против Пруссии и Франции. Эта комбинация не удалась, и неудаче ее всеми силами способствовал Фридрих. Однако он отказался расстроить эти планы кандидатурой своей сестры, принцессы Ульрики, которая пришлась бы по вкусу Елизавете. «Было бы жестоко, – говорил он, – принести в жертву эту принцессу». На некоторое время он предоставил своего посланника, Мардефельда, его собственным, довольно ограниченными силами и силами его французского коллеги, де ла Шетарди, также не особенно значительным в то время. Мардефельд находился в немилости с некоторых пор, и Елизавета подумывала даже о том, чтобы заставить его отозвать. Что касается де ла Шетарди, то, сыграв значительную роль при восшествии на престол новой императрицы, он сделал ошибку и не сохранил за собой завоеванного им положения. Он оставил свой пост и, вернувшись на него, не нашел уже прежних привилегий. Впрочем, его правительство его не поддерживало и заставляло его поминутно требовать инструкций. Он даже спрашивал себя: «Может быть, король все так же настроен против намеков на возможность брака великого князя с одной из сестер короля, сделанных после восшествия на престол императрицы?»

Однако Фридрих не дремал. Мысль об отправке в Петербург портрета, написанного Пэнном в Берлине, исходила от него. Одному из братьев матери Фигхен, принцу Августу Голштинскому, было поручено преподнести его царице. Портрет был неважен – по-видимому, Пэн уже состарился. Однако он понравился императрице и ее племяннику. В решительную минуту, в ноябре 1743 г., Мардефельд получил приказание решительно выдвинуть принцессу Цербстскую или, если она не понравится, одну из принцесс Гессен-Дармштадтских. Не пользуясь личным влиянием, прусский агент и его французский коллега решили заручиться помощью двух упомянутых нами лиц Брюмера и Лестока, и, по свидетельству де ла Шетарди, результатом этого союза была победа. «Они представили государыне, что принцесса из влиятельного дома не окажется достаточно покладистой... Они также ловко воспользовались некоторыми духовными лицами, чтобы внушить ее величеству, что, вследствие незначительного различия между обеими религиями, католическая принцесса будет опаснее и в этом смысле». Может быть, орудуя далее в этом направлении, они подчеркнули и наличие сговорчивого отца в лице принца Цербстского, который, по словам Шетарди, «был славным малым сам по себе, хотя и необыкновенно ограниченным». Словом, в первых числах декабря Елизавета поручила Брюмеру написать письмо, взволновавшее несколько недель спустя мирный двор, где Екатерина росла под строгим надзором мадемуазель Кардель.

## II

Сборы принцессы Елизаветы и ее дочери своею поспешностью удовлетворили бы Брюмера. Никто и не думал о составлении приданого для Фигхен. «Два или три платья, дюжина сорочек, столько же чулок и носовых платков» – вот все, что она взяла из родительского дома. Раз обещано было, что в России ни в чем недостатка не будет, к чему было тратить? Впрочем, и времени на то не было. Фридрих и Брюмер слали письмо за письмом, настаивая на скором отъезде. Между тем торопить принцессу Иоанну-Елизавету было нечего. «Ей недостает только крыльев, чтобы скорее лететь», писал Брюмер Елизавете. Впрочем, по-видимому, принцесса и не намеревалась окружить особенным блеском первое появление своей дочери в России. Перечитывая ее переписку с Фридрихом в ту минуту, удивляешься, как мало попечений она уделяла будущей великой княгине.

Возникает вопрос, действительно ли речь идет о свадьбе Фигхен, и предпринимаемое путешествие в Россию имеет ли в самом деле эту цель? В этом можно усомниться. Иоанна-Елизавета едва даже намекает на это. Она главным образом думает о себе, о великих планах, возникающих в ее голове, которые она намеревается развернуть на достойной ее умения арене,

об услугах, которые она собирается оказать своему державному покровителю и за которые она, как будто загодя, требует достойного вознаграждения. В этом смысле она и думала действовать в Петербурге и в Москве.

Знала ли Фигхен, о чем шла речь и в каких целях, добрых или дурных, ей приказывали укладываться? Этот пункт спорный. Она, несомненно, догадывалась, что дело было не в простой экскурсии, подобной предпринятым раньше, в Гамбурге или Эйтине. Продолжительность и горячность споров между ее отцом и матерью перед отъездом, необычайная торжественность проводов и прощания ее дяди, принца Иоанна-Людвига, даже небывалая роскошь подарка – великолепная голубая материя, затканная серебром, – которым он сопроводил последние свои излияния, все это предвещало необыкновенные события.

Отъезд состоялся 10 или 12 января 1744 г., причем не произошло никаких инцидентов. В ратуше в Цербсте до сих пор еще показывают чашу, из которой будто бы принцесса Иоанна-Елизавета пила за здоровье именитых граждан, торжественно собравшихся, чтобы пожелать ей счастливого пути. Вероятно, это лишь легенда. Однако в минуту отъезда случилось одно происшествие. Нежно поцеловав свою дочь, принц Христиан-Август вручил ей толстую книгу, прося тщательно ее беречь и добавив с таинственным видом, что ей вскоре придется к ней прибегнуть. Одновременно он передал и жене рукопись, чтобы она отдала ее дочери, после того как сама прочтет и тщательно обдумает содержание. Книга эта была трактатом Гейнекция о греческой религии. Рукопись являлась плодом ночных размышлений Христиана-Августа и была озаглавлена: «Pro memoria»; он пытался выяснить в ней вопрос: может ли Фигхен каким-нибудь образом стать великой княгиней, не меняя религии? Это являлось главной заботой Христиана-Августа и предметом супружеских споров, привлечших внимание Фигхен и сопровождавших приготовления к отъезду. Христиан-Август оказался непоколебимым в этом вопросе, между тем как Иоанна-Елизавета была гораздо более склонна признать необходимость, нераздельную с новой судьбой ее дочери. Почему-то отец Фигхен пожелал лично дать своей дочери оружие против покушений, оскорблявших его. Труд Гейнекция и долженствовал служить этой цели. То была тяжелая крепостная артиллерия. «Pro memoria» заключала в себе соображения и советы другого порядка, в которых отражались практический ум, свойственный самым возвышенным немецким душам, и мелочные привычки двора, подобного Цербстскому или Штеттинскому. Он советовал будущей великой княгине оказывать крайнее уважение и беспрекословное повиновение тем, от кого зависела отныне ее судьба; выше всего ей подлежало ставить желания ее супруга; ей следовало избегать слишком интимного сближения с кем бы то ни было из окружающих ее лиц. В приемных залах ей надлежало не разговаривать ни с кем в отдельности. Ей надо было беречь свои карманные деньги, дабы не подпасть под власть гофмейстерины. Наконец, она в особенности не должна была вмешиваться в дела управления. Все это было изложено на жаргоне, представляющем любопытный образчик обычного языка той эпохи, того немецкого языка, который Фридрих презирал не без причины, судя по следующему отрывку: «*Nicht in familiarité oder badinage zu entriren, sondern allezeit einigen égard sich conserviren. In keine Regierungssachen zu entriren, um den Senat nicht aigriren*». И так далее.

Два месяца спустя Фигхен горячо благодарила отца за эти «милостивые советы». Увидим далее, как она ими воспользовалась.

В Берлине, где обе принцессы остановились на несколько дней, будущая императрица последний раз в жизни увидела Фридриха Великого. В Шведте-на-Одере она распрощалась навеки с отцом, сопровождавшим их до этого города. Он вернулся в Штеттин, а Иоанна-Елизавета направилась через Штаргарт и Мемель в Ригу. Это путешествие, в особенности в то время года, не представляло ничего приятного. Снега не было, но острый холод заставлял обеих женщин закрывать лицо маской. Не было комфортабельных пристанищ, где можно было бы отдохнуть. Приказания Фридриха, отрекомендовавшего графиню Рейнбек – принцесса путешествовала под этим именем – прусским почтмейстерам и бургомистрам, не могли ничего изменить

к лучшему. «Так как комнаты в почтовых домах не отапливались, то приходилось ютиться в комнате самого почтмейстера, ничем не отличавшейся от свиного хлева: муж, жена, сторожевой пес, куры, дети спали вповалку в колыбелях, в кроватях, за печами, на матрацах». После Мемеля было еще хуже. Не было даже почтовых дворов. Приходилось обращаться к крестьянам, чтобы достать лошадей, а их надо было двадцать четыре для четырех тяжелых дорожных карет, везших принцесс и их свиту. К каретам в предвидении снега, который мог бы встретиться по мере движения на север, были привязаны сани. Внешний вид поезда получал таким образом живописный оттенок, но зато затруднялось его движение. Двигались медленно. Фигхен успела даже расстроить себе желудок местным пивом.

В Митаву приехали 5 февраля в совершенном изнеможении. Там их встретили лучше, и гордость Иоанны-Елизаветы, тайно уязвленная вынужденной близостью к почтмейстерам, получила впервые удовлетворение. В Митаве был русский гарнизон, и командир, полковник Воейков, постарался принять как можно лучше столь близкую родственницу своей государыни. На следующий день уже приехали в Ригу.

Сцена внезапно переменилась, будто в феерии. Письма принцессы к своему мужу дают восторженные описания этого неожиданного превращения: гражданские и военные власти, с вице-губернатором князем Долгоруковым во главе, встретили ее у въезда в город; другой вельможа, Семен Кириллович Нарышкин, бывший послом в Лондоне, привез парадную карету; по дороге во дворец гремели пушки и т. д. И в самом замке, уготованном для приема дальних гостей, какая роскошь! Великолепно меблированные комнаты, часовые у всех дверей, курьеры на всех лестницах, барабанный бой во дворе. Ярко освещенные залы – полны народа; придворный этикет, целование рук и низкие реверансы; обилие великолепных мундиров, чудных нарядов, ослепительных бриллиантов; бархат, шелк, золото, невероятная, невиданная дотоле роскошь кругом... Иоанна-Елизавета чувствует, что голова ее кружится, ей все это кажется сном.

«Когда я иду обедать, – пишет она, – раздаются звуки трубы; барабаны, флейты, гобой наружной стражи оглашают воздух своими звуками. Мне все кажется, что я нахожусь в свите ее императорского величества или какой-нибудь великой государыни; я не могу освоиться с мыслью, что это для меня, для которой в иных местах едва бьют в барабаны, а в иных местах и этого не делают». Однако она охотно все принимает и всей душой наслаждается. Что касается Фигхен, нам неизвестно, какое впечатление произвела на нее картина могущества и роскоши, внезапно раскинувшаяся перед ней. Но, несомненно, оно было глубоко. То была Россия, великая, таинственная Россия, являющаяся ей и заставляющая ее предвкушать будущее великолепие.

9 февраля снова пустились в путь. Поехали в Петербург, где по желанию государыни им следовало остановиться на несколько дней, а затем уже ехать к ней в Москву. Принцессы должны были воспользоваться своим пребыванием в столице, чтобы применить свой туалет к общепринятой моде. Со стороны Елизаветы это был деликатный способ исправить угаданные или сообщенные заранее неисправности и нехватки в гардеробе Фигхен. Несомненно, со своими тремя платьями и дюжиной сорочек будущая великая княгиня играла бы плачевную роль при дворе, являвшемся средоточием всякой роскоши. Сама государыня имела пятнадцать тысяч шелковых платьев и пять тысяч пар башмаков! Екатерина безбоязненно вспоминала впоследствии о бедности, сопровождавшей ее в ее новое отечество. В то время она полагала, что уплатила уже свой долг.

Само собой разумеется, что в Митаве остались тяжелые немецкие дорожные кареты. Другой поезд должен был везти обеих путешественниц по дороге к новому счастью. Принцесса Цербстская описывает его следующим образом: «1 – отряд лейб-кирасир его императорского высочества, именуемый голштинскими полками, под командой поручика; 2 – камергер князь Нарышкин; 3 – шталмейстер; 4 – офицер лейб-гвардии Измайловского полка; 5 – метрдотель; 6 – кондитер; 7 – не знаю уже, сколько поваров и их помощников; 8 – ключник и его помощ-

ники; 9 – человек для кофе; 10 – восемь лакеев; 11 – два гренадера лейб-гвардии Измайловского полка; 12 – два фурьера; 13 – не знаю сколько саней и конюхов... Среди саней есть сани, которыми пользуется ее императорское величество, так называемые „les linges“ (sic!). Они ярко-красные, украшенные серебром, опушенные внутри кунным мехом. Устланы они шелковыми матрасами и такими же одеялами, поверх них лежит одеяло, присланное мне вместе с шубами, – подарок императрицы, привезенный Нарышкиным. Я буду лежать в этих санях во весь рост вместе с дочерью. У мадам Кайн (статс-дама принцессы) менее красивые сани, она едет совсем одна». Далее Иоанна-Елизавета еще более восторгается совершенствами чудесных императорских саней: «Они по форме очень длинны; верх напоминает верх наших немецких экипажей. Они обиты красным сукном с серебряными галунами. Низ устлан мехом; на него положены матрасы, перины и шелковые подушки; а сверх всего этого разостлано очень чистое атласное одеяло, на которое и ложишься. Под голову кладут еще другие подушки, а покрываются подбитым мехом одеялом; таким образом оказываешься совсем как в постели. Кроме того, длинное расстояние между кучером и задком служит еще и для других целей и полезно в том отношении, что по каким бы ухабам мы ни ехали, не чувствуется вовсе толчков; дно саней представляет ряд сундуков, куда кладешь что угодно. Днем на них сидят лица свиты, а ночью люди могут лечь на них во весь рост. Они запряжены шестью лошадьми парами, опрокинуться они не могут... все это придумано Петром Великим».

Елизаветы не было в Петербурге с 21 января. Все же в столице находилось еще много лиц, принадлежавших ко двору, и часть дипломатического корпуса. В то время путешествие в Москву являлось целым событием. Приходилось брать с собой не только людей, но и часть мебели. Отъезд государыни перемещал до ста тысяч человек и целый квартал города. Впрочем, французский и прусский посланники не позволили никому предупредить их у обеих принцесс. Оба поспешно отправились к ним. Таким образом принцесса Цербстская оказалась окруженной атмосферой искательства, почтения, чрезмерной лести, в которой уже проглядывали интриги и страстное соперничество. Она очутилась в своей стихии и сладострастно погрузилась в нее, делая приемы, давая аудиенции с утра до вечера, приглашая на «партию» выдающихся знатных людей и приучаясь к более сложной игре в политику. Через неделю она сильно утомилась. Ее дочь оказалась выносливее. «Figchen southenirt die Fatige besser, als ich», писала принцесса своему мужу. Она добавляла и следующую черточку, где проглядывает уже характер будущей Семирамиды: «Величие всего окружающего поддерживает мужество Фигхен».

Величие! Действительно, эта черта как будто сильнее всего занимает ум этой пятнадцатилетней девочки в эту минуту, когда раскрывалась перед ней тайна ожидавшей ее судьбы. Позднее, находясь на вершине своей удивительной карьеры, она сохранила как бы следы ослепления и опьянения горизонтами, развернувшимися перед ней в то время. Вместе с тем она узнает, из чего соткано это величие и как оно достигается. Ей показывают казармы, из которых Елизавета отправилась завоевывать престол; она видит и суровых гренадер Преображенского полка, сопровождавших государыню в ночь 6 декабря 1741 г. Эти беспримерные наглядные уроки запечатлеваются в ее пытливом уме.

В уме ее матери, однако, иногда к упоению настоящей минуты примешивается и некоторая тревога. Сквозь расточаемые ей комплименты и похвалы к ее уху прокрадываются некоторые сдержанные предупреждения и скрытые угрозы. Всемогущий Бестужев все еще противится предполагаемому браку и не складывает оружия. Он рассчитывает на епископа новгородского, Амвросия Юшкевича, оскорбленного слишком близким родством между великим князем и принцессой Софией и, по слухам, подкупленного саксонским двором тысячей рублей.

Влияние его значительное. Но Иоанна-Елизавета мужественна. Две причины, стоящие аргументов всех ее противников, поддерживают ее самоуверенность и веру в успех: во-первых, необыкновенное легкомыслие ее характера, вследствие чего она сама называет себя «игривым

духом», и ее мнение о себе, о своих способностях интриговать и умнее преодолевать самые большие препятствия. В чем, собственно, было дело? В победе над оппозицией недоброжелательного министра. К тому было средство, о котором было говорено ею с Фридрихом при проезде ее через Берлин; оно состояло в том, чтобы устранить оппозицию, устранив самого министра, «свергнуть Бестужева». Фридрих давно уже подумывал об этом. Что ж? Она свергнет Бестужева, как только приедет в Москву! Брюммер и Лесток ей в этом помогут.

### III

Это путешествие ничем не походило на путешествие из Берлина в Ригу. Почтовые дворы по дороге напоминают скорей дворцы. Сани летят по твердому снегу. Едут день и ночь, чтобы приехать в Москву 9 февраля, ко дню рождения великого князя. На последней заставе, в семидесяти верстах от Москвы, в знаменитые сани, придуманные Петром Великим, впрягают шестнадцать лошадей и в три часа сжигают это пространство. Этот головокружительный бег, однако, чуть не был прерван несчастным случаем. Проезжая одну деревню во весь дух, тяжелые сани, везомые шестнадцатью конями и еще раз везущие счастье России, ударяются об угол избы. От толчка два толстых железных бруса отрываются от покато́й крыши и, скатившись с нее, чуть не убивают обеих принцесс. Один из них ударяет Иоанну-Елизавету по груди, но шуба, в которую она закутана, ослабляет удар, дочь ее даже не проснулась. Два гренадера Преображенского полка, сидевшие на козлах, лежат в снегу с окровавленными головами и поломанными членами. Жителям села предоставляют их поднять, стегают лошадей и в восемь часов вечера останавливаются у деревянного «Головинского дворца», обитаемого государыней.

Елизавета, страдаемая нетерпением, стала за двойными шпалерами придворных, выстроившихся для встречи приезжих гостей. Ее племянник, еще более нетерпеливый, нарушает этикет и спешит в их апартаменты, где, не дав им даже снять шубы, приветствует их самым нежным образом (*auf tendreste*). Вскоре они являются императрице, свидание сходит самым лучшим образом. Оно даже оттенено ноткой умиления, являющейся счастливым предзнаменованием. Внимательно взглядевшись в мать будущей великой княгини, императрица поворачивается и поспешно выходит. Оказывается, она хочет скрыть свои слезы, так как черты лица принцессы напомнили ей ее неутешную скорбь. Впрочем, принцесса, следуя совету Брюммера, не преминула поцеловать руку императрицы, а Елизавета чувствительна к знакам чрезвычайного почтения.

На следующий день Фигхен и ее мать одновременно производятся в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины – по просьбе великого князя, как уверяет их Елизавета. «Моя дочь и я живем, как королевы», пишет принцесса Цербстская своему мужу. Что касается всемогущего Бестужева, судьба его решена. Принцессе не приходится даже организовывать заговора для его свержения, так как он уже готов: перемена в судьбе Петра-Ульриха привлекла в Россию партию Франции и партию Пруссии, поддерживаемую голштинцами. По-видимому, всеми ими управляет Лесток, выдвигая вперед, в виде оппозиции Бестужеву, графа Михаила Воронцова, принимавшего участие в восшествии на престол Елизаветы. Здесь не место для характеристики министра, одного из самых замечательных дипломатических кондотьеров той эпохи, служившего многим лицам перед тем, как предложить окончательно свои услуги России. Сознает ли мать Фигхен значение затеянной ею борьбы и могущество своего соперника? Вряд ли. Она твердо помнит, что Фридрих обещал дать ее младшей сестре Кведлинбургское аббатство в случае успеха ее затеи, и она намерена получить свое аббатство. Падение Бестужева, согласно плану Фридриха, являлось бы сигналом к перемещению фигур на политической шахматной доске, следствием которого было бы сближение между Россией, Пруссией и Швецией. Как прославилась бы принцесса Цербстская, если бы ей удалось пристегнуть свое имя к подобному событию! Она чувствует, что это ей по плечу. Она – женщина, и приехала

из Цербста: в этом заключается ее оправдание. Ей все кажется, что она имеет дело с маленькими интригами и жидкими политическими комбинациями, с которыми она была знакома в Цербсте; в этом и состояла ее великая ошибка вплоть до того дня, когда перед ее прозревшими глазами предстала необъятность бездны, на край которой она бессознательно ступила. О браке своей дочери она более и не заботится. «Это дело сделано», пишет она своему мужу. Фигхен всем понравилась. «Государыня ее ласкает, наследник любит ее». Что же, между тем, говорит сердце невесты? Воспоминание о первой встрече в Эйтине с щедедушным «кильским ребенком» уступило ли теперь место более благоприятным впечатлениям? Мать Фигхен и не заботится об этом. Петр – великий князь, он будет когда-нибудь императором. Сердце ее дочери было бы сделано из другого теста, чем сердца всех немецких настоящих и прежних принцесс, если бы оно не удовлетворилось обещаниями счастья, данными в такой форме. Посмотрим, однако, что стало с хилым ребенком после неожиданной перемены, внесенной в его судьбу!

#### IV

Петр родился в Киле 10 февраля 1728 г. В этот день голштинский министр Бассевич писал в Петербург, что царевна Анна Петровна родила здорового и крепкого мальчика. Под его пером то было лишь придворная лесть. Ребенок не был крепким и никогда им не стал. Мать его умерла от чахотки три месяца спустя. Его слабое здоровье и было причиной, почему воспитание его было неудовлетворительно. До семи лет он оставался на руках у нянек – как в Штеттине, так и в Киле они были француженки. У него был и учитель французского языка, Милле. В семь лет его резко заставили перейти под дисциплину офицеров голштинской гвардии. Не став еще мужчиной, он уж делается солдатом – солдатом казарменным, кордегардии и плац-парада. Вследствие этого он приобретает пристрастие к ремеслу, но к наиболее низменной его стороне, к его грубости, мелочности и вульгарности. Он участвует в учениях, несет караульную службу. В 1737 г., девяти лет, он уже сержант и по обязанностям службы стоит с обнаженным оружием у двери залы, где отец его роскошно пирует с офицерами. По мере того, как перед его глазами проносятся вкусные блюда, слезы ручьями текут по щекам ребенка. Вступив на престол, Петр называл это происшествие самым лучшим воспоминанием своей жизни.

В 1739 г., по смерти отца, наступает другой режим: появляется главный воспитатель, руководящий несколькими другими. Этот главный воспитатель – знакомый уже нам голштинец Брюммер. Рюльер восхваляет этого человека, «обладающего редкими достоинствами», и находит, что единственная его ошибка заключается в том, что он «воспитал молодого принца по самым высоким образцам, соображаясь скорей с его судьбой, чем с его умом». Другие показания касательно этого лица не столь для него благоприятны. Француз Милле утверждал, что он «годен был воспитывать лошадей, а не принцев». Он грубо обращался со своим воспитанником, подвергая его неразумным наказаниям, не соответствовавшим его хрупкому телосложению; например, он оставлял его без пищи или подвергал мукам долгого стояния на коленях *на сухом горохе, рассыпанном по полу*. Вследствие того, что маленький принц, «чертушка», упорно продолжавший жить наперекор императрице Анне, был одновременно кандидатом и на шведский и на русский престолы, его попеременно обучали то русскому, то шведскому языку, сообразно планам данного момента. В результате он не знал ни того, ни другого языка. Когда он приехал в Петербург в 1742 г., Елизавета удивилась его отсталости. Она поручила его Штелину. Он был саксонец, переселившийся в Россию в 1736 г., профессор элоквенции, поэзии, философии Готтшедта, логики Вольфа и еще многих других предметов. Кроме своей профессорской учености, он обладал еще и множеством талантов: писал стихи по поводу придворных торжеств, переводил итальянские оперы для театра ее величества, составлял рисунки для медалей в память побед, одержанных над татарами, управлял хорами императорской капеллы, сочинял эмблемы для фейерверков и т. п.

Легко себе представить, каково было воспитание Петра среди вышеупомянутых обстоятельств! Брюммер остался при нем в качестве гофмаршала и, по свидетельству Штелина, стал еще грубее. Однажды потребовалось его вмешательство для того, чтобы предотвратить насилие над великим князем, так как голштинiec бросился на него с поднятыми кулаками, а Петр, полумертвый от страха, стал звать на помощь гренадер гвардии, стоявших на часах.

Под влиянием подобного режима характер будущего супруга Екатерины приобрел уродливые и порочные свойства: он стал одновременно несдержан и хитер, труслив и хвастлив. Он удивлял чистосердечную Фигхен своею ложью, как удивлял впоследствии весь мир своей трусостью. Однажды он захотел было повергнуть в изумление Фигхен рассказами о своих подвигах во время войны с датчанами. Она наивно спросила, когда это было. – «За три или четыре года до смерти моего отца». – «Значит, вам не было еще и семи лет!» Он очень рассердился.

Вместе с тем он оставался тщедушным, непривлекательным как в физическом, так и в нравственном отношении и обладал странной, беспокойной душой, заключенной в узком, малокровном и преждевременно истощенном теле. Фигхен, несомненно, ошиблась бы, если бы рассчитывала на его привязанность для упрочения своего положения в России, как эта привязанность ни казалась искренней Иоанне-Елизавете. Был ли он вообще способен любить, этот молодой человек столь печального образа?

К счастью для себя, Екатерина могла с самого начала полагаться, помимо всякой другой поддержки, на свои собственные силы. Ее рассказы про эту эпоху ее жизни показались бы почти невероятными, если бы мы не имели возможности проверить искренность ее повествования. Ей едва исполнилось пятнадцать лет, но уже мы замечаем в ней верный и проницательный взгляд, меткость суждений, изумительную способность схватывать положение и необыкновенно здравый смысл, составлявшие впоследствии части ее гения, может быть, даже весь ее гений. Прежде всего она поняла, что для того, чтобы остаться в России, иметь в ней значение и – как знать? – играть в ней роль, следует сделаться русской. Ее троюродный брат Петр, без сомнений, и не помышлял об этом. Но она быстро отдаёт себе отчет в неловкости и тайном недовольстве, возбуждаемом его голштинским жаргоном и немецкими манерами.

Она встает ночью, чтобы повторять уроки учителя русского языка Ададунова. Она не дает себе труда одеться и ходит босиком по комнате, чтобы не заснуть, и простужается. Вскоре жизнь ее находится в опасности.

«Молодая принцесса Цербстская, – пишет Шетарди 26 марта 1744 г., – заболела воспалением легких. Саксонская партия поднимает голову. Согласно свидетельству французского дипломата, она жестоко ошибается, так как Елизавета не намерена, что бы ни случилось, дать ей воспользоваться событиями. „Она говорила третьего дня Брюммеру и Лестоку, что они тем ничего не выиграют, а ежели б она такое дражайшее дитя потерять несчастье имела, то она диаволом клялась, что саксонской принцессы, однако ж, никогда не возьмет“. Впрочем, Шетарди пишет: „Брюммер мне в конфиденции открыл, что в случае бедственной крайности, которой опасаться и предусматривать надлежит, он пути приуготовил и что молодая принцесса д'Армштадтская (sic), прекрасная собою и которую король Прусский представлял, в случае когда б принцесса Цербстская успеха не получила, – всем другим принцессам предпочтена была б. Однако ж прибежище к такому способу немалым несчастьем быть имело б, и мы в том много б потеряли, в рассуждении того мнения и удостоверения, которые принцессы Цербстские, мать и дочь, обо мне имеют, что я в будущем их благополучию, которое им приуготовляется, вспомоществовал“.

В то время как вокруг нее пробуждается честолюбивое соперничество, принцесса София борется со смертью. Доктора предписывают кровопускание. Ее мать этому противится. Дело передается на обсуждение императрицы; но она находится в Троицкой лавре, погруженная в молитвы, которым она предается страстно, хотя и порывами, влагая страсть во все свои поступки. Проходит пять дней; больная все ждет. Наконец Елизавета приезжает в сопровожде-

нии Лестока и приказывает пустить кровь. Бедная Фигхен теряет сознание. Придя в себя, она видит себя в объятиях императрицы. Чтобы вознаградить ее за то, что она дала уколоть себя ланцетом, императрица дарит ей бриллиантовое ожерелье и серьги ценою в двадцать тысяч рублей, по оценке принцессы Иоанны-Елизаветы. Сам Петр обнаруживает щедрость и преподносит ей часы, осыпанные бриллиантами и рубинами. Однако ни бриллианты, ни рубины не властны над лихорадкой. В течение двадцати семи дней больной пускают кровь шестнадцать раз, иногда по четыре раза в сутки. Наконец, молодость и крепкий организм Фигхен одерживают верх и над болезнью и над лечением. Оказалось даже, что этот долгий и болезненный кризис имел на ее судьбу решительное и особенно счастливое влияние. Во-первых, насколько мать ее умудрилась опротивить всем, вечно препираясь с докторами, ссорясь с окружающими и со своей дочерью, которую мучила, невзирая на ее страдания, настолько Екатерина сумела, несмотря на свое положение, завоевать все сердца и привлечь все симпатии. В это время разыгралась история с материей – со знаменитой голубой материей, подаренной ей ее дядей Людвигом. Иоанна-Елизавета почему-то вздумала отнять ее у бедной Фигхен. Можно себе представить, какой шум поднялся вокруг больной по случаю этого пустого инцидента: хор упреков по адресу бесчувственной, жестокосердой матери, – хор симпатий в пользу дочери, жертвы столь недостойного обращения. Фигхен уступила материю и ничего от этого не потеряла. Она торжествовала, впрочем, и другие победы.

Ее болезнь сама по себе делала ее привлекательной в глазах русских. Все знали, каким образом она ее схватила. Образ молодой девушки, босиком изучающей по ночам созвучия славянского языка, невзирая на суровую зиму, пленял воображение и становился легендарным. Вскоре стало известно, что, когда она была очень плоха, мать ее хотела позвать протестантского пастора. «Это зачем? – сказала она. – Позовите лучше Симеона Тодорского». Симеон Тодорский был православный священник, которому поручили религиозное воспитание великого князя и который должен был приняться и за религиозное воспитание великой княгини.

Каковы были в данную минуту чувства принцессы Софии относительно этого щекотливого вопроса? Трудно произнести о них правильное суждение. Некоторые признаки указывают на то, что труд Гейнекция и советы, изложенные в «Pro metoia» Христиана-Августа, произвели на нее довольно глубокое впечатление. «Я молю Бога, – писала она отцу еще из Кенигсберга, – чтобы он даровал моей душе силы, необходимые для того, чтобы выдержать искушения, которым я, по-видимому, буду подвергнута. Он дарует мне эту милость молитвами вашего высочества и дорогой мамы». Со своей стороны Мардефельд был озабочен. «Меня сильно смущает лишь одно обстоятельство, – пишет он, – а именно: мать думает или делает вид, что думает, что молодой красавице нельзя будет перейти в православную веру».

Он рассказывает еще, что как-то раз пришлось призвать протестантского пастора, чтобы он успокоил ее сердце, встревоженное уроками православного священника. Вот, однако, какое представление составила себе впоследствии Екатерина, опираясь на личный опыт, о трудностях, с которыми сопряжен переход в лоно православной церкви немецкой принцессы, воспитанной в лютеранстве, о количестве времени, требуемом для одоления их, и о ходе разрешенной подобным образом нравственной задачи.

В письме к Гримму от 18 августа 1776 г. она выражается следующим образом о принцессе Вюртембергской, выбранной ею для своего сына Павла: «Как только мы ее получим, мы приступим к ее обращению. На это потребуется, пожалуй, дней пятнадцать... Чтобы ускорить дело, Пастухов отправился в Мемель, где выучит ее азбуке и исповеданию веры по-русски: *убеждение придет после*».

Как бы то ни было, но отказ от лютеранского пастора – отречение от верований детства, исходящее из уст умирающей будущей великой княгини, и призыв Тодорского к исповеданию православной веры – нашли сочувственный отклик в России. С этого времени положение Фигхен было обеспечено. Что бы ни случилось, она отныне могла быть уверена в том, что найдет

приют в сердце наивного и глубоко религиозного народа, желающего доказать ей свою благодарность. Узы, связавшие маленькую немецкую принцессу с великим славянским народом, на языке которого она только что начинала лепетать, договор, в продолжение почти столетия соединявший их в одной славной судьбе и расторгнутый лишь смертью, – эти узы, этот договор образовались с этой минуты.

20 апреля 1744 г. принцесса София впервые после болезни появляется публично. Она еще так бледна, что императрица посылает ей банку румян, но она все-таки привлекает все взоры и чувствует, что взоры эти большей частью благожелательны. Она уже нравится и привлекает к себе. Она сияет и согревает ледяную атмосферу двора, которому она сумеет впоследствии придать столько блеска. Даже Петр становится любезнее и доверчивее. Увы! его любезность и доверчивость совершенно особого свойства: он рассказывает своей будущей супруге историю своей любви к одной из фрейлин императрицы, Лопухиной, мать которой была недавно сослана в Сибирь. Фрейлине пришлось при этом покинуть двор. Петр хотел было на ней жениться, но подчинился воле императрицы. Фигхен краснеет и, не теряя самообладания, благодарит великого князя за честь, оказываемую ей тем, что делает ее поверенной своих тайн. Таким образом, уже выясняется, какая будущность ожидает эти два столь различные существа.

## V

Тем временем принцесса Иоанна-Елизавета вполне погрузилась в свои политические предприятия. Она сошлась с семьей Трубецких и даже с Бецким, проявлявшим уже свой беспокойный характер. В ее салоне собираются все противники настоящей политической «системы», все враги Бестужева: Лесток, Шетарди, Мардефельд, Брюммер. Она интригует, замышляет, шепчется. Она смело идет вперед со свойственной нервным женщинам страстностью и присутствием ей легкомыслием; ей кажется, что в ее руках успех и Кведлинбургское аббатство. Она в воображении уже принимает поздравления Фридриха и входит в роль посланника при великом северном дворе, ставшем его лучшим и драгоценнейшим союзником. Она не видит разрывающейся у ее ног пропасти.

1 июня 1744 г. Елизавета снова отправляется в Троицкую лавру. Путешествие совершается со всей пышностью торжественного богомолья; императрицу сопровождает половина двора, а сама она идет пешком. Вступая на престол, она дала обет возобновлять это богомолье каждый раз, как будет приезжать в Москву, в память того, что Петр I нашел в древней обители убежище во время стрелецкого бунта. Принцесса София, будучи еще слишком слабой, не могла сопровождать императрицу, и мать ее осталась с ней. Однако через три дня является курьер с письмами от Елизаветы, повелевающей обеим принцессам присоединиться к императорскому шествию, дабы присутствовать при торжественном въезде императрицы в Троицкую лавру. Не успели они расположиться в келье, куда пришел и великий князь, как является императрица в сопровождении Лестока. Она, в большом волнении, приказывает принцессе Иоанне-Елизавете следовать за ней в соседнюю комнату. За ними идет и Лесток. Свидание длится долго, но Фигхен не тревожится этим, так как она поглощена вздорной, по обыкновению, болтовней Петра. Мало-помалу молодость и живость ее ума одерживают верх над чувством неловкости, внушаемым ей обыкновенно присутствием великого князя, и они весело разговаривают и смеются. Вдруг возвращается Лесток. «Ваша радость скоро кончится!» сказал он резко; затем, обращаясь к принцессе Софии, он прибавил: «Вам остается только укладываться». Фигхен немеет от изумления, а великий князь спрашивает, что это значит. «Сами скоро увидите», отвечает Лесток.

«Я ясно видела, – пишет Екатерина в своих „Записках“, – что он (великий князь) расстался бы со мной без сожаления. Ввиду его отношения ко мне, я была к нему почти совсем

равнодушна, но я не была равнодушна к российской короне». Могла ли, действительно, эта пятнадцатилетняя девочка думать уже о короне? Почему же нет? Она писала свои записки через сорок лет – если предположить, что она их писала в том виде, в каком они до нас дошли, – и неизбежно преувеличивала свои детские впечатления. «Сердце мое, – говорит она дальше, вспоминая ту же эпоху своей жизни, – не предвещало мне ничего доброго; меня поддерживало лишь честолюбие. В глубине моего сердца всегда таилось нечто, что не позволяло мне сомневаться в том, что мне удастся сделаться императрицей всероссийской по собственному своему почину». Здесь преувеличение очевидно и добавление *a posteriori* бросается в глаза. Но престол, разделенный с Петром, мог, пожалуй, казаться заманчивым ее детскому воображению; случалось ведь, что и более отдаленные «надежды» фигурировали в брачном приданом, и даже в настоящее время пятнадцатилетние невесты прекрасно умеют их учитывать.

Вслед за Лестоком появляется императрица, очень красная, а за ней принцесса Иоанна-Елизавета, очень взволнованная и с заплаканными глазами. При виде государыни молодые люди, сидевшие на подоконнике с болтающимися ногами, поспешно соскакивают на пол. Эта картина как будто обезоруживает императрицу. Она улыбается, подходит к ним, целует их и выходит, не вымолвив ни слова. Тут тайна разоблачается. Уж больше месяца принцесса Цербстская, не подозревая того, ходила по mine, вырытой под ее ногами врагом, которого она думала одолеть без труда. И вот мина взорвалась.

Маркиз де ла Шетарди вернулся в Россию с репутацией самого блестящего дипломата того времени, опиравшейся на роль, сыгранную им в России. Ему было двадцать шесть лет. Он был высокого роста, строен, красивой, аристократической наружности и, казалось, предназначен был занять высокое положение при дворе, где все решения зависели от фавора, где прежде всего и главным образом надо было нравиться и где, как говорят, он раньше уже успел понравиться. Он составил себе очень ловкий план, пожалуй, даже слишком ловкий план; ему не без труда удалось заставить Версальский двор принять его. Он заключался в том, чтобы поставить падение Бестужева, т. е. отречение от австрийской политики, защищаемой им, условием уступки, давно уже обсуждаемой обоими дворами, чрезвычайно желаемой Елизаветой и упорно отвергаемой Францией. Дело шло о титуле императорского величества, молчаливо признаваемом за преемниками Петра Великого, но еще не зарегистрированном и потому отсутствовавшем в официальных бумагах, исходивших из канцелярии наихристианейшего короля.

Шетарди добился того, что в его верительные грамоты был внесен желанный титул. Он оставил их у себя, чтобы отдать их лишь преемнику Бестужева, после падения последнего. Это стало известно Елизавете, а вскоре и всему двору. До тех пор французский дипломат, опираясь на личное влияние, имел дело непосредственно с императрицей, помимо ее канцлера. Однако он слишком понадеялся на свои силы и обманывался насчет характера Елизаветы. Портрет дочери Петра I был не раз обрисован, и мы имеем, по всей вероятности, верное понятие о характере этой странной государыни, одновременно беспокойной и ленивой, любящей веселиться и интересующейся делами, проводящей целые часы за своим туалетом, но заставляющей ожидать неделями и даже месяцами подписи или приказа. В ней уживались самые противоречивые свойства. Это была женщина властная, чувственная, набожная, неверующая и суеверная, поминутно переходившая от излишеств, разрушавших ее здоровье, к религиозной экзальтации, поражавшей ее разум: в наше время мы бы назвали ее истеричной. Барон де Бретейль рассказывает в одной из своих депеш, что в 1760 г. ей следовало подписать возобновленный договор, заключенный в 1746 г. с Венским кабинетом; она уже написала Ели..., когда на ее перо села оса. Она остановилась, и лишь через шесть месяцев dokonчила свою подпись! Принцесса Цербстская оставила недурное описание ее внешности:

«Императрица Елизавета очень высокого роста; она была отлично сложена. В мое время она уже стала полнеть, и мне всегда казалось, что ее касались слова Сент-Эврémona в описании знаменитой герцогини Мазарини, Гортензии Манчини: „Талия ее тонка в той мере, в

какой у другой она была бы красивой“. В то время это к ней относилось в буквальном смысле. Голова безукоризненна; правда, нос менее безупречен, но он на месте. Рот бесподобен; другого такого не сыскать: он полон грации, улыбки и кокетства. Он не умеет гримасничать и слагается только в грациозные складки; и брань из этих уст казалась бы прелестной, если бы они умели ее выговорить. Два ряда жемчужин виднеются меж красных губ, совершенство которых нельзя себе представить, не видев их. Глаза трогательны; да, они на меня производят именно это впечатление! Они кажутся черными, в действительности они голубые. Они внушают кротость, которую проникнуть... Лоб чрезвычайно приятен. Волосы ее растут так правильно, что от одного взмаха гребня они искусно и красиво ложатся. У императрицы черные брови и волосы естественного пепельного оттенка. Все ее лицо благородно, походка красива; она грациозна, говорит хорошо, приятным голосом, движения ее решительны. Словом, нет лица, подобного ей! Цвет лица, грудь и руки – невиданные по красоте. Поверьте мне, я знаток, и говорю без предубеждения»!

В отношении нравственном желчное перо маркиза Шетарди в то же время противопоставляло этому грациозному видению совершенно иную характеристику. Всем известна история перехваченной переписки неосторожного дипломата, в которой негодующая государыня прочла самые возмутительные обвинения. В своих мемуарах, являющихся, по всей вероятности, апокрифическими, д'Эон приписывает, кроме того, графу Воронцову следующие суждения:

«Под личиной добродушия, она (Елизавета) обладает тонким, острым умом. Если заранее не застегнуться и не надеть панциря, защищающего от ее взгляда, он проникает под ваше одеяние, раскрывает его, раздевает вас, открывает вашу грудь и, когда вы это заметите, то уже слишком поздно: вы обнажены, эта женщина все прочла внутри вас и обыскала вашу душу... Ее чистосердечие и доброта не что иное, как маска! Во Франции, например, и во всей Европе она пользуется репутацией милостивой. Действительно, при восшествии на престол она поклялась св. Николаю Чудотворцу, что в ее царствование никто не будет казнен. Она сдержала свое слово в буквальном его смысле: ни одна голова не была еще отрублена; но зато отрублены две тысячи языков и две тысячи пар ушей... Вы, вероятно, знаете историю бедной и интересной Евдокии Лопухиной? Она, может быть, и была виновата перед ее величеством, но главная ее вина заключалась в том, что она была ее соперница и красивее ее. Елизавета велела проколоть ей язык раскаленным железом и дать ей двадцать ударов кнута рукой палача; несчастная была беременна и должна была родить... Вся ее частная жизнь полна таких же противоречий. То безбожная, то набожная, неверующая до атеизма, ханжа и суеверная, она проводит целые часы на коленях перед иконой Богородицы, разговаривая с ней и страстно вопрошая ее, в какой гвардейской роте ей надлежит взять любовника... Я забыл еще одно обстоятельство... Ее величество питает сильное пристрастие к спиртным напиткам. Случается, что под их влиянием она теряет сознание. Тогда приходится разрезать ее платье и корсет. Она бьет слуг и служанок...».

Можно себе представить, с какими трудностями приходилось сталкиваться Шетарди, имея дело с государыней подобного странного характера, и на какой скользкий путь стала принцесса Цербстская. Она сделала его сообщницей и в конце концов возложила на него все свои надежды. Мардефельд от нее отошел, Брюммер мало-помалу уклонился, а Лесток лавировал, повинаясь своему верному инстинкту. Из Версаля маркизу советовали быть осторожнее. Наконец ему было властно приказано не делать признание императорского титула предметом столь сомнительного торга, так как само по себе это обстоятельство не было важно. «Король-император Франции», писали ему. Благоразумнее было «оказать любезность» царице, показав ей письмо короля. Может быть, она вследствие этого и заставит своего министра заключить столь желанный союз. Шетарди готов был повиноваться, но ему предстояло одолеть еще одно препятствие: надо было по крайней мере на четверть часа «удержать внимание» государыни, и это ему не удавалось.

Между тем Бестужев готовил свой удар. С помощью чиновника иностранной коллегии Гольдбаха, опять-таки немца, а может быть и еврея, специалиста по чтению шифров, он перехватывал и перлюстрировал всю переписку французского посланника и наконец представил ее императрице, отметив места, относившиеся до нее лично. Де ла Шетарди жаловался на лень, легкомыслие государыни, на ее ужасную жажду удовольствий и кокетство, заставляющее ее менять туалет четыре-пять раз в день. Можно себе представить гнев Елизаветы! Последствия его известны. Шетарди упорно не представлял своих верительных грамот, и потому его пребывание в Петербурге не носило официального характера, он жил в нем частным человеком. Посредством простой записки из коллегии ему было сообщено приказание в двадцать четыре часа покинуть Петербург и Россию. Императрица повелела даже отобрать у него портрет на крышке осыпанной бриллиантами табакерки, пожалованной ему государыней! Табакерку ему оставили.

Не он один оказался замешанным в это дело. Его депеши открыли императрице глаза на участие принцессы Цербстской в неудавшейся интриге. Она оказалась в роли шпиона Пруссии и Франции при русском дворе, дающего советы Шетарди и Мардефельду, тайно переписывающегося с Фридрихом. Вот что обозначала загадочная сцена в Троицкой лавре!

Принцесса Цербстская отделалась лишь испугом, горькими истинами, которые ей пришлось выслушать от Елизаветы, и безвозвратной потерей не только того влияния, которое она мечтала приобрести при дворе, – тайные пружины его она только начинала постигать, – но и того, на которое она имела право рассчитывать. «Имя принцессы Цербстской», пишет год спустя преемник Шетарди д'Альон, – часто встречалось в перехваченных письмах маркиза де ла Шетарди. С тех пор императрица чувствует к ней сильную неприязнь... Для нее лучше всего было бы вернуться в Германию». Она так и сделала, но сперва ей удалось присутствовать при единственной победе, на которую она могла рассчитывать под этим небом, ставшим для нее столь немилостивым, – и той именно, которую она до того упустила из виду, что чуть ее не погубила.

## VI

Личность Фигхен вышла чистой из этого кризиса. Наоборот, с этой минуты победа ее не подлежит сомнению, и брак с великим князем становится делом окончательно решенным, как будто ее невинность заставила ее противников и политических врагов сложить оружие. Оставалось решить еще один щекотливый вопрос – о торжественном принятии принцессы Софии в лоно православной церкви. Принцесса Цербстская последовала по мере возможности советам своего мужа. Она употребила все усилия, чтобы отстоять свою веру и веру своей дочери. Она даже осведомилась, не может ли прецедент супруги царевича Алексея, оставшейся лютеранкой, послужить на пользу Фигхен. Но все ее попытки в этом направлении остались бесплодными. Она, однако, скрасила свое сообщение об этом набожном Христиану-Августу некоторыми утешительными рассуждениями. Она просмотрела с Симеоном Тодорским весь православный символ веры, тщательно сравнила его с лютеранским вероисповеданием и пришла к убеждению, что между обеими религиями нет коренного различия. Фигхен же еще скорее поняла, что она может спастись и в православной вере. Гейнекций, очевидно, ошибался, а Мефодий во всем сходился с Лютером. Аргументы Симеона Тодорского оказались неопровержимыми. Этот архимандрит был очень ловок. Он много путешествовал и учился в университете в Галле. Христиан-Август, однако, поддался не сразу. «Добрый принц Цербстский, – писал впоследствии Фридрих, – упорствовал... На все мои убеждения он отвечал только: „Моя дочь не будет православной“. К счастью, в Берлине нашелся другой Симеон Тодорский. „Один пастор, – пишет Фридрих, – которого мне удалось привлечь на свою сторону... согласился убедить его, что православная вера похожа на лютеранскую. С тех пор он все повторял: «Лютеран-

ско-греческая, греко-лютеранская – это одно и то же“. В июне месяце курьер, отправленный Елизаветой, привез официальное разрешение принца на брак принцессы Софии и ее обращение в православную веру. Добрый принц Христиан-Август писал, что видит перст Божий (eine Führung Gottes) в обстоятельствах, продиктовавших ему его решение.

Публичное исповедание веры было назначено на 28 июня, а обручение на 29 июня, день св. апостолов Петра и Павла. Близость этого обряда волновала Фигхен. Письма, в большом количестве получаемые ею от родных из Германии, не способствовали ее успокоению. Можно себе представить, какие обильные и разнородные комментарии вызвала столь неожиданная судьба маленькой принцессы в среде, в которой она жила до тех пор! Общий характер их не был благожелательным. Может быть, к опасениям, внушаемым, по-видимому, лишь нужной заботливостью, примешивалась и некоторая доля зависти. Припоминалась печальная судьба несчастной Шарлотты Брауншвейгской, супруги Алексея, покинутой мужем, забытой царем. Вообще, далекая Россия не сыграла ли роковой роли в истории всей этой немецкой семьи, также думавшей найти в ней прекрасную и великую будущность? Все это было изложено в длинных, путанных фразах немецким жаргоном, пестревшим французскими словами, в которых Фигхен подмечала гораздо больше досады, чем искренней тревоги. Но они, однако же, заставляли ее дрожать каждый раз, как она устремляла тревожный взор в загадочное будущее.

Однако никто из придворных, толпившихся 28 июня 1744 г. в десять часов утра в церкви Головинского дворца, не подозревал состояния ее души. Одетая в платье «adrienne» из алого «gros de Tours», выложенного серебряным галуном, с простой белой лентой в ненапудренных волосах, Фигхен дышала молодостью, красотой и скромностью. Ее голос не дрогнул, память не изменила ей ни на секунду, когда она в присутствии умиленных слушателей произносила по-русски символ своей новой веры. Новгородский архиепископ, тот самый, что был против ее брака, пролил слезы, и все присутствующие сочли своим долгом последовать его примеру. Правда, они плакали и при обращении Петра-Ульриха, несмотря на то, что тот гримасничал во время богослужения и глумился над священнослужителями. Умиление, однако, входило в распписание подобных дней. Императрица выразила свое удовольствие тем, что подарила новообращенной граф и бриллиантовое ожерелье стоимостью в 100 000 р., согласно оценке принцессы Цербстской.

Что бы сказал добрый Христиан-Август, если бы он слышал, как дочь его объявила перед лицом Бога и людей: «Верую и исповедую, что одна вера недостаточна для моего спасения»? Не потребовалось ли со стороны самой Фигхен некоторого усилия, чтобы произнести эти слова, окончательно отделявшие ее от ее прошлого? Лица, усмотревшие в данном случае влияние парижских философов на ее юный ум, ошиблись числами. По всей вероятности, будущий друг Вольтера в то время еще и не подозревала существования этого писателя. По выходе из церкви силы ей изменили, и она не могла присутствовать при обеде. Однако то не была уже ни Фигхен, ни принцесса София-Фредерика, что нетвердыми ногами переступила порог церкви, увешанной золотыми иконами. В тот же день на литургии впервые было провозглашено на ектенью прошение о «благоверной Екатерине Алексеевне». Принцесса Цербстская объяснила мужу, что к имени София лишь присоединили имя Екатерина, «как то бывает при конфирмации». Слово «Алексеевна» обозначало, разумеется, «дочь Августа», что нельзя было перевести по-русски иначе, чем Алексеевна. Добрый Христиан удовольствовался этим объяснением: ему за последнее время вообще приходилось запастись большим доверием.

Обручение было совершено на следующий день в Успенском соборе. Принцесса Цербстская сама надела на пальцы Екатерины Алексеевны и ее будущего супруга два кольца, «ценою в 50 тысяч экю», писала она. Некоторые писатели, в том числе и Рюльер, утверждают, что Екатерина тут же получила и титул «наследницы престола», с правом наследования в случае смерти великого князя. Современные писатели оспаривают этот факт. Для такого постановления надо было бы издать манифест; его, однако ж, не существует. Будущая великая княгиня

продолжала приводить всех в восторг совершенной грацией и тактичностью своего поведения. Даже ее мать заметила, что она краснела каждый раз, как согласно требованиям своего нового положения она принуждена была идти впереди своей матери. Однако принцесса не могла не заметить также, что ее дочь намерена была воспользоваться своим новым положением, чтобы избавиться от давно угнетавшей ее опеки. К тому же не одна Екатерина видела, что присутствие ее матери становилось тягостным и что в среде, где ей приходилось вращаться, принцессу Цербтскую не любили и смотрели на нее как на «чужую». Екатерина первый раз в жизни имела карманные деньги: Елизавета ей прислала 30 000 р. на «карточную игру», как тогда выражались. Эти деньги оказались ей неистощимым сокровищем. С первых же дней она почерпнула из них широко и с благородной целью. Ее брата только что послали в Гамбург, чтобы закончить образование. Она объявила, что принимает на себя расходы по его содержанию. У нее был свой двор, камергеры, камер-юнкеры; причем вообще весь штат был тщательно избран вне того кружка, который принцесса Цербтская вздумала было заставить служить своим интересам и интересам Фридриха. Таким образом матери пришлось испытать новое разочарование, и она не преминула лишний раз обнаружить свою бестактность тем, что открыто выражала неудовольствие. Своим несносным, придирчивым характером она окончательно оттолкнула всех от себя. Она ссорилась и с великим князем, который в размолвках с ней не стесняясь пускал в ход запас слов, набранных им в кордегардии.

Между тем Екатерина быстро освоилась с новым положением. Ей даже представился случай ближе познакомиться с обширными владениями, которыми ей суждено было впоследствии управлять. В сопровождении матери и великого князя она совершила то самое путешествие в Киев, которое возобновила через сорок лет с необычайной пышностью. Она сохранила об этой поездке неизгладимое впечатление, несомненно повлиявшее на склад ее ума и характер ее управления. Проехав около восьмисот верст, не покидая владений Елизаветы, видя на своем пути толпы народа, падавшие ниц перед всемогуществом императрицы, маленькая немецкая принцесса, привыкшая к ограниченному горизонту бедных немецких княжеств, чувствовала, как в душе ее зарождается и крепнет сознание беспредельного величия и могущества. Когда она стала императрицей, ей казалось, что она является воплощением этого величия и предназначена в силу его вознестись над всем миром. Вместе с тем, благодаря своей юной проницательности и верному взгляду, она подмечает и обратную, печальную и мрачную сторону этого ослепительного великолепия. В Петербурге и Москве она видела своими очарованными глазами лишь блещущий золотом трон, облитый бриллиантами двор, внешнюю декорацию императорского величия, заключавшегося в слегка варварской пышности и почти азиатской роскоши, – она очутилась теперь лицом к лицу с основой и источниками, питавшими это беспримерное великолепие: перед ее изумленными, а затем и испуганными глазами предстал русский народ – дикий, грязный, дрожащий от холода и голода в закопченных избах и несущий, как крест, двойное ярмо нищеты и рабства. Она угадывала, предчувствовала в этой ужасающей антитезе нужды и роскоши печальные недостатки в экономическом и социальном строе и невероятный произвол власти. В этом поверхностном обозрении коренятся все начатки преобразований, все благородные инстинкты и либеральные порывы, характеризующие первую половину ее царствования.

По возвращении в Москву ей пришлось ознакомиться и с другой оборотной стороной медали: мелкими неприятностями, неразлучными с ее высоким положением. Однажды вечером в комедии, сидя в ложе великого князя, напротив императрицы, она уловила гневный взгляд Елизаветы, направленный на нее. Вскоре услужливый Лесток, с которым государыня разговаривала, явился в ее ложу и сухо, резко, умышленно подчеркивая свою холодность, передал ей, что императрица на нее гневается, и объяснил почему. Екатерина в один месяц наделала долгов на 17 000 р.; все сокровище растаяло в ее руках, из которых впоследствии золотая река лилась на империю и на всю Европу. Но разве ей возможно было удовлетвориться

тремя платьями, привезенными ею из Цербста? Ей приходилось даже заимствовать у своей матери. Затем она заметила, что при русском, как и при цербстском дворе, дружба подогревалась маленькими подарками и что в ее положении ей не оставалось другого средства для поддержания хороших отношений с окружающими. Даже великий князь питал особое пристрастие к этому способу сохранения добрых отношений с невестой. Наконец, графиня Румянцева очень своеобразно понимала свои обязанности гофмейстерины; она сама была очень расточительна и вовлекала в расточительность и Екатерину.

В своих «Записках», откуда мы заимствуем эти подробности, Екатерина строго осуждает окружавших ее в то время лиц, не исключая и великого князя; несмотря на ее щедрость, их взаимные отношения уже тогда не отличались сердечностью. Может быть, она поддалась искушению и сгустила краски в этом уголке картины. Следующая записка как будто подтверждает это предположение. Великий князь, заболевший в октябре плевритом, не покидал своих апартаментов и тяготился вынужденным затворничеством. Екатерина писала ему (мы сохраняем слог и орфографию подлинника): «Monsieur, ayant consulté ma Mère, sachant qu'elle pent beaucoup sur le grand-maréchal (Брюммер), elle m'a permis de lui en parler et de faire qu'on vous permettent de jouer sur les instrumens. Elle m'a aussy chargée de vous demander, Monseigneur, sy vous voulez quelques Italiens aujourd'hui après Midy. Je vous assure que je deviendray folle en Votre place s'y on m'otois tous. je vous prie au Nom De Dieu, ne lui montrez pas ces billets. Catherine».

Эта записка как будто обеляет саму принцессу Цербстскую от обвинений в дурном и вздорном характере, предъявляемых к ней даже ее дочерью. Два месяца спустя, в декабре, мы видим Екатерину в слезах, умоляющей пустить ее к жениху, заболевшему новой и ужасной болезнью. По дороге из Москвы в Петербург Петр принужден был остановиться в Хотилове, так как схватил оспу. Жених Елизаветы умер от оспы. Императрица отстранила Екатерину и ее мать, отослав их в Петербург, и сама принялась ухаживать за великим князем. Екатерине оставалось лишь писать ему очень нежные письма, в которых она впервые употребляет русский язык. Но это была лишь уловка, так как сочинял их Ададулов, а она их только списывала.

Вторичное пребывание Екатерины в Петербурге было отмечено приездом графа Гюлленборга, посланного шведским двором с известием о совершившемся браке наследника престола Адольфа-Фридриха, дяди Екатерины, с принцессой Ульрикой Прусской. Екатерина видела Гюлленборга еще в 1740 г. в Гамбурге. Он тогда уже заметил в ней философский склад ума. Он расспросил ее, как идут ее занятия, и посоветовал ей почитать Плутарха, жизнь Цицерона и «Причины величия и падения Римской империи» Монтескье. В свою очередь, Екатерина преподнесла ему свой портрет, «портрет философа в 16 лет», составленный ею самой. Она впоследствии отобрала у Гюлленборга подлинник и, к сожалению, сожгла его, а в бумагах графа Гюлленборга, сохранившихся в университете в Упсале, не осталось копии с него. В своих «Записках» Екатерина уверяет, что она сама изумилась, как глубоко и верно она себя понимала. Мы сожалеем, что не имеем возможности проверить ее суждение.

Петр вернулся в Петербург лишь в конце января. Кастера рассказывает, что, обняв великого князя и выказав живейшую радость при свидании, Екатерина вернулась к себе, лишилась чувств и ее три часа не могли привести в сознание. Оспа, действительно, не послужила к украшению великого князя. Рябинки на его лице и огромный парик на голове делали его почти неузнаваемым. Одна только принцесса Цербстская нашла, что он прекрасно выглядит, и тотчас же сообщила об этом мужу. Кастера, по всей вероятности, впал по обыкновению в преувеличение, а принцесса Цербстская, должно быть, вспомнила, что петербургская почта охотно знакомилась с содержанием доверяемых ей писем. Как бы то ни было, вскоре после возвращения великого князя начались приготовления к свадьбе.

## VII

В России не бывало еще церемонии подобного рода. Брак царевича Алексея, сына Петра I, совершился в Торгау, в Саксонии, а до него наследники московского престола не были будущими императорами. Написали во Францию, где только что отпраздновали свадьбу дофина; справились и в Саксонии. Как из Версаля, так и из Дрездена пришли самые точные описания, даже рисунки, изображающие малейшие подробности торжества; их надлежало не только повторить, но и превзойти. Как только вскрылась Нева, стали приходить немецкие и английские пароходы, привозя экипажи, мебели, материи, ливреи, заказанные во всей Европе. Христиан-Август прислал несколько цербстских материй, вытканых золотом и серебром. Тогда носили узорчатые шелка с золотыми и серебряными цветами на светлом фоне. Они вырабатывались в Англии и Цербсте, занимавшем, по отзыву знатоков, второе место в этом производстве.

День свадьбы, несколько раз отложенный, был окончательно назначен на 21 августа. Празднества должны были продолжаться до 30-го. Доктора великого князя требовали новой отсрочки, так как в марте Петр опять заболел. Казалось, что и целого года было мало для окончательного его выздоровления. Но Елизавета не желала больше ждать, ей, между прочим, хотелось скорей избавиться от матери Екатерины.

Вероятно, были и другие, более веские причины, заставлявшие ее торопиться. Ввиду слабого здоровья Петра престолонаследие было весьма шатко обеспечено, а память о маленьком Иоанне, заключенном в крепости, все еще тревожила умы. В июне 1745 г. в уборной Елизаветы был найден неизвестный человек с кинжалом в руке. Никакие пытки не могли вырвать у него ни одного слова.

Согласно довольно авторитетным показаниям, принцесса Иоанна-Елизавета продолжала обнаруживать свой несносный характер. Не было некрасивой истории, в которой бы она так или иначе не была замешана в последние недели своего пребывания в России. Она беспрестанно интригует и сплетничает. Она даже обвиняет свою дочь в том, что та имеет ночные свидания с великим князем. Императрица приказывает перехватывать и внимательно читать ее письма. Вместе с тем ей и в голову не приходит пригласить ее мужа на предстоящее торжество. Долгое время принцесса Цербстская сулила Христиану-Августу это приглашение, советуя ему быть к нему всегда готовым и откладывая его со дня на день, с месяца на месяц. Сам Фридрих, введенный в заблуждение Мардефельдом, поддерживал эту надежду в своем фельдмаршале. Наконец Иоанна-Елизавета принуждена была сознаться, что скорее подумывали о том, как бы отправить ее саму домой до торжества.

Из всей семьи на бракосочетании присутствовал лишь брат принцессы. Тут сказалось лукавство Бестужева. Август Голштинский был неуклюж, груб и убог умом и являлся неказистым родственником. Английский посланник Гиндфорд пишет в своих депешах, что он никогда не видывал кортежа, более великолепного, чем тот, что сопровождал Екатерину в Казанский собор. Церковный обряд начался в десять часов утра и кончился лишь в четыре часа пополудни. Православная церковь, по-видимому, добросовестно отравила свои обязанности. В продолжение последующих десяти дней празднества шли непрерывной чередой. Балы, маскарады, обеды, ужины, итальянская опера, французская комедия, иллюминации, фейерверки – программа была полная. Принцесса Цербстская оставила нам любопытное описание самого интересного дня – дня бракосочетания:

«Бал продолжался всего полтора часа. Затем ее императорское величество направилась в брачные покои, предшествуемая церемониймейстерами, обер-гофмейстером ее двора, обер-гофмаршалом и обер-камергером двора великого князя; за ней шли новобрачные, держась за руку, я, мой брат, принцесса Гессенская, гофмейстерина, статс-дамы, камер-фрейлины, фрей-

лины. По прибытии в апартаменты, мужчины удалились тотчас же, как вошли все дамы, и двери закрылись. Молодой супруг прошел в комнату, где ему надлежало переодеться. Принялись раздевать новобрачную. Ее императорское величество сняла с нее корону; я уступила принцессе Гессенской честь одеть на нее сорочку, гофмейстера надела на нее халат, а остальные дополнили ее великолепный домашний туалет.

«За исключением этой церемонии, – замечает принцесса Цербстская, – раздевание невесты берет здесь гораздо менее времени, чем у нас. Ни один мужчина не смеет войти с той минуты, как супруг вошел к себе, чтобы переодеться на ночь. Здесь не танцуют танца с гирляндой и не раздадут подвязок. Когда великая княгиня была готова, ее императорское величество прошла к великому князю, которого одевали обер-егермейстер граф Разумовский и мой брат. Императрица привела его к нам. Его одевание было схоже с одеванием его супруги, но было менее красиво. Ее императорское величество преподала им свое благословение; они приняли его, стоя на коленях. Она их нежно поцеловала и оставила принцессу Гессенскую, графиню Румянцеву и меня, чтобы мы уложили их в кровать. Я попыталась было выразить ей свою благодарность, но она меня осмеяла».

Мы обязаны также перу Иоанны-Елизаветы описанием апартаментов, отведенных молодым супругам.

«Эти апартаменты состоят из четырех комнат, одна прекраснее другой. Богаче всех кабинет: он обтянут затканной серебром материей с великолепной шелковой вышивкой разных цветов; вся меблировка подходящая: стулья, шторы, занавеси. Спальня обтянута пунцовым, отливающим алым бархатом, вышитым серебряными выпуклыми столбиками и гирляндами; кровать вся покрыта им; вся меблировка подходящая. Она так красива, величественна, что нельзя смотреть на нее без восторга».

Торжества закончились особой церемонией, никогда уже более не повторявшейся. В последний раз был спуск на воду «Дедушки русского флота», ботика, построенного, согласно преданию, самим Петром Великим. Указом от 2 сентября 1724 г. Петр повелел спускать его каждый год 30 августа, а остальное время года сохранять в Александро-Невской лавре. После его смерти и ботик и указ были забыты. Елизавета вспомнила про них лишь в 1744 г. и повторила эту церемонию на следующий год по случаю бракосочетания своего племянника. Пришлось построить плот, чтобы поддерживать ботик, так как он уже не держался на воде. Елизавета торжественно взошла на него и поцеловала портрет своего отца, прикрепленный к мачте.

Через месяц принцесса Цербстская рассталась навсегда со своей дочерью и с русским двором. Прощаясь с императрицей, она бросилась к ее ногам, умоляя простить ей причиненные ею неприятности. Елизавета отвечала, что «говорить об этом слишком поздно и что если бы принцесса была всегда так скромна, это было бы гораздо лучше для всех». Описывая сцену прощания, сама Иоанна-Елизавета упоминает лишь о любезности императрицы, взаимных ласках и слезах, пролитых обеими сторонами. Как мы уже видели, придворные слезы дорого не стоили, и Иоанна-Елизавета, несмотря на свои неудачные политические интриги, все же была довольно дипломатична в своих писаниях.

В Риге ее ожидал страшный удар. Ее настигло письмо Елизаветы, поручавшее ей просить Берлинский двор о немедленном отзывании Мардефельда. Это являлось окончательным разрушением надежд, возложенных Фридрихом на посредничество принцессы и постоянно поддерживаемых ею. В день отъезда Иоанны-Елизаветы из Петербурга, 10 октября 1745 г., обнаружилось, что Фридрих подговаривал супруга принцессы Луизы-Ульрики и брата принцессы Цербстской, Адольфа-Фридриха Шведского, предъявить свои права на Голштинское герцогство. Фридрих находил, что владение этим герцогством несовместимо со владением российским престолом. Одновременно пришли вести об удаче прусского оружия на саксонской границе (при Соре, 30 сент.), и Государственный Совет, немедленно собравшийся, решил послать корпус на подмогу королю польскому, которому угрожало вторжение в его наследственные

владения. С этой минуты присутствие в Петербурге Мардефельда, друга и политического союзника принцессы Цербстской и, следовательно, и ее брата, становилось неммыслимым.

Итак, Иоанне-Елизавете удалось без особого труда сделать свою дочь русской великой княгиней. На всех других пунктах, где она развернула свою неусыпную деятельность, поражение ее было полным. Мимоходом она вздумала было сделать своего мужа герцогом Курляндским, но и это ей не удалось.

Все же Екатерина оплакивала, и непритворными слезами, отъезд своей беспокойной матери. Она сама в этом признается. Иоанна-Елизавета во всяком случае была ее матерью и единственным лицом среди ее нового величия, в чьей привязанности она не могла сомневаться, хотя она и не доверяла ее советам. После ее отъезда вокруг Екатерины образовалась большая пустота. С этого же момента, в одиночестве, являющемся стихией сильных натур, началось настоящее воспитание будущей императрицы, – то воспитание, о котором не подумала мадемуазель Кардель.

## Глава 3 Вторичное воспитание Екатерины

### I

Несмотря на развитой не по летам ум, Екатерина все же была еще ребенком. Вопреки своему православному имени и официальному титулу, она оставалась лишь чужестранкой, благодаря случайности призванной в Россию и занявшей в ней высокое положение; ей приходилось еще много поработать, чтобы достигнуть уровня своей высокой судьбы. Если она сама и забыла это на время, – что, по-видимому, действительно до некоторой степени и случилось, – кто-то другой взял на себя труд ей это напомнить, и в довольно суровой форме. Достигнув цели, т. е. выйдя замуж, воспитанница мадемуазель Кардель как будто изменила свое прежнее безупречное поведение, заслужившее всеобщее одобрение. Даже «милостивые наставления» Христиана-Августа были как будто ею забыты. Она вскоре получила другие советы, и уже не столь отеческие.

10 и 11 мая 1746 г., через неполные девять месяцев после свадьбы, императрице были представлены к подписи два документа, касавшиеся великого князя и великой княгини. Видимая цель их заключалась в избрании и установлении правил поведения для двух «знатных особ», которых собирались назначить гофмейстером и гофмейстериной их императорских высочеств. Настоящая цель их была иная. В сущности, к Екатерине и ее супругу приставляли настоящих воспитателей. Их, так сказать, возвращали к школьному возрасту. Под видом указания программы этого добавочного воспитания был составлен настоящий обвинительный акт против юной супружеской четы, своим поведением вызвавшей эту меру. Автором обвинительного акта, редактором обоих документов был сам Бестужев.

Произведение канцлера сохранилось для потомства. Оно изобилует поистине изумительными разоблачениями – до того изумительными, что они могли бы возбудить недоверие, если бы мы не имели возможность проконтролировать их «Записками» Екатерины. Она повторяет почти дословно все, что Бестужев говорит о жизни супругов в то время. В некоторых случаях Екатерина даже дополняет описание канцлера, и мы от нее же узнаём некоторые интимные подробности относительно ее самой. Посудите сами. «Знатная особа», призванная состоять при великом князе, должна будет, читаем мы в «инструкции», исправить некоторые непристойные привычки его императорского высочества, как, например, выливать за столом содержимое стакана на головы прислуги, говорить грубости и неприличные шутки лицам, имеющим

честь быть приближенными к нему, и даже иностранцам, допущенным ко двору, публично гримасничать и коверкаться всем телом...

«Великий князь, – читаем мы в „Записках“, – занимался непостижимыми в его возрасте ребячествами... Он велел сделать театр марионеток в своей комнате; ничего глупее этого нельзя было придумать... Он проводил свое время буквально в обществе лакеев... Великий князь составил полк из всей своей свиты: придворные лакеи, егеря, садовники – все получили мушкеты; коридор служил им кордегардией... Великий князь бранил меня за чрезвычайную, по его мнению, набожность, в которую я вдавалась; но так как во время обедни ему не с кем было разговаривать, кроме меня, он перестал на меня дуться. Узнав, что я продолжаю постничать, он меня сильно выбранил...»

Как в том, так и в другом описании вырисовывается тот же силуэт невоспитанного и невежественного ребенка, обладающего порочными инстинктами.

Посмотрим теперь, какова была сама Екатерина. Канцлер формулировал против нее три главных обвинения: отсутствие усердия к православной вере; запрещенное ей вмешательство в государственные дела империи или герцогства Голштинского; чрезмерная фамильярность с молодыми вельможами, посещающими двор, с камер-юнкерами, даже с пажами и лакеями. По-видимому, последний пункт представляется наиболее важным. Это именно тот пункт, насчет которого Екатерина выразилась чрезвычайно ясно в своих «Записках», и эти объяснения не оставляют никакого сомнения насчет фамильярности, если не сказать более, отношений, установившихся между нею и по крайней мере тремя молодыми людьми, посещавшими двор, – тремя братьями Чернышевыми, высокими, стройными и пользовавшимися особой благосклонностью великого князя. Старший, Андрей, самый блестящий из всех, стал вскоре любимцем Петра, а впоследствии и Екатерины. Она ласково называла его «сыночек мой», а он ее «матушкой», что само по себе не заключало в себе ничего двусмысленного. Однако из этого вытекала близость, казавшаяся менее невинной. Петр не только ее допускал, но даже поощрял ее, нередко забывая самые элементарные приличия. Он во всем любил крайность, и его не смущало ни собственное неприличие, ни непристойность окружающих. Когда Екатерина была еще невеста, Андрею Чернышеву пришлось напомнить Петру, что ей суждено быть российской великой княгиней, а не госпожой Чернышевой. Петр расхохотался, услышав это замечание, показавшееся ему страшно забавным, и с тех пор стал звать молодого человека «женихом» Екатерины. Екатерина, со своей стороны, сознается, что она поставила себя в такое положение, что простой лакей, ее камердинер Тимофей Евреинов, решился предупредить ее об опасности, которой она подвергалась. Она, впрочем, утверждает, что действовала в полной невинности и неведении опасности. Тимофей предупредил также Чернышева, заболевшего, по его совету, на некоторое время. Это происходило на масленице 1746 г. В апреле, при обычном переезде двора из зимнего дворца в летний, Чернышев снова появляется и пытается проникнуть в спальню Екатерины; она заграждает ему дорогу, не подумав о том, чтобы закрыть дверь, что было бы более разумнее. Держа дверь приотворенной, она продолжает разговор, казавшийся ей, по-видимому, интересным. Вдруг появляется Девьер, один из героев Семилетней войны, исполнявший обязанности камергера при дворе и, кажется, и шпиона. Он объявляет великой княгине, что великий князь просит ее к себе. На следующий день Чернышевы удалены от двора, и в тот же день появляется «знатная дама», призванная наблюдать за поведением Екатерины.

Это совпадение многозначительно!

Елизавета, впрочем, не ограничивается этой мерой. Она приказывает Екатерине и Петру говеть и поручает Симеону Тодорскому, теперь уже епископу псковскому, расспросить их насчет их отношений к Чернышевым.

Чернышевы арестованы и также подвергаются еще более настойчивому и, вероятно, не столь мягкому допросу. Но ни с той, ни с другой стороны признаний не последовало. Однако Екатерина упоминает о переписке с Андреем Чернышевым, которую она вела с ним даже во

время его пребывания в тюрьме. Она ему писала; он отвечал; она давала ему поручения, и он их исполнял. Предположим, что и в этом случае она поступала невинно. Однако нам придется вскоре быть менее снисходительными к ней. Упреки страшного канцлера по адресу Екатерины касались еще и другой области, в которой он главным образом и намеревался возложить на нее ответственность. Прошло уже девять месяцев с того времени, как великая княгиня заняла роскошное супружеское ложе, столь подробно описанное ее матерью, а престолонаследие все еще не было обеспечено. Лица, озабоченные будущностью империи, не имели даже возможности ухватиться за какую-нибудь надежду в этом направлении.

На ком лежала вина?

Инструкция, составленная Бестужевым для будущей воспитательницы Екатерины, ясно обнаруживает его личное мнение относительно этого вопроса. В целях обеспечения престолонаследия, великую княгиню надлежало побуждать, чтобы «она с своим супругом со всеудобно-вымышленным добрым и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовью, приятностью и горячностью обходилась и генерально все то употребляла, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлеци, каким бы образом с ним в постоянном добром согласии жите».

Екатерина в своих «Записках» категорически восстает против этого обвинения:

«Если бы великий князь желал быть любимым, то относительно меня это вовсе было не трудно; я от природы была склонна и привычна к исполнению своих обязанностей...»

Ее склонности, действительно, впоследствии ясно обнаружились, и сомневаться насчет их не приходится. Но и Петр со своей стороны, несмотря на странности своего характера и темперамента, как будто вовсе не обнаруживал в этом отношении отвращения, несогласного с обычным порядком вещей.

Тотчас по приезде в Россию, четырнадцати лет от роду, он влюбился во фрейлину Лопухину. Затем другая фрейлина, Карр, пленяет его сердце, и Екатерине приходится выслушивать новые признания в пылкой любви к этой особе. В 1756 г. он поссорился с Шафировой и со знаменитой Воронцовой, с которой впоследствии снова сошелся, и влюбился в Теплоу. Кроме того, ему к ужину приводят певичку-немку. Затем он ухаживал за некоей Седрапарре, принцессой Курляндской и другими красавицами. Следовательно, загадка так и остается загадкой. Не следует ли искать ее разрешения в одном любопытном документе, изданном лишь недавно и подтверждающем предшествующие показания, почитавшиеся до сих пор сомнительными.

«Великий князь, – пишет Шампо в донесении, составленном для Версальского двора в 1758 г., – сам того не подозревая, был неспособен производить детей, вследствие препятствия, устраняемого у восточных народов посредством обрезания, но почитаемого им неизлечимым. Великая княгиня, не любившая его и не проникнутая еще сознанием необходимости иметь наследников, не была этим опечалена».

Кастера пишет со своей стороны:

«Он (великий князь) так стыдился несчастья, поразившего его, что у него не хватало даже решимости признаться в нем, и великая княгиня, принимавшая его ласки с отвращением и бывшая в то время такой же неопытной, как и он, не подумала ни утешать его, ни побудить искать средства, чтобы вернуть его в ее объятия».

Время оправдало Екатерину и ее защитников. Она имела детей, и имела их, или сделала вид, что имела, от мужа. Надо сознаться, что меры, придуманные канцлером, были тут ни при чем.

Как бы ни были велики способности и заслуги канцлера, он в данном случае не выказал особой мудрости. Может быть, он лучше умел управлять большой империей, чем жизнью юной супружеской четы. Выбор воспитательницы, призванной заменить собою мадемуазель Кардель, был неудачен. Эта честь выпала на долю Марии Семеновны Чоглоковой; ей было всего двадцать четыре года; она была красива, добродетельна, любила мужа и имела детей, что,

вероятно, вызвало доверие к ней императрицы и ее канцлера. Надлежало, чтобы великокняжеская чета имела всегда перед глазами назидательный пример добродетельных и любящих супругов. Увы, пример этот не привел к добру! Чоглокова была добродетельна, но неопытна. Екатерина ее невлюбила, и она не сумела ни заставить уважать свой авторитет, ни установить действительный надзор за великой княгиней. Не было ничего легче, как ее провести, и Екатерина с приближенными стала с увлечением предаваться запрещенным удовольствиям и отыскивать поводы к ним. Муж Марии Семеновны находился в Вене, когда его жена была назначена на свой пост. Вернувшись в Петербург, он без памяти влюбился в одну из фрейлин великой княгини, Марию Кошелеву. Будучи влюблен, он вдвойне ослеп и старался затуманить глаза и своей жене. Вследствие этого у нее на глазах граф Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы, имел возможность ухаживать за великой княгиней, если и не слишком смело, то во всяком случае весьма упорно. Несколько месяцев спустя дела пошли еще хуже. Муж воспитательницы, изменив фрейлине, запыхал страстью к той, за которой его жена обязана была следить. Великий князь, со своей стороны, ухаживал за всеми фрейлинами и, таким образом, сближение, которое должна была произвести Чоглокова, не произошло, и исполнение ее задачи встретило еще большие затруднения.

Мысль обходиться с замужней женщиной, русской великой княгиней как с маленькой девочкой, была сама по себе несчастна, что и доказали последующие события. Екатерине было строго запрещено переписываться с кем бы то ни было, даже с отцом и матерью. Она должна была ограничиваться подписыванием писем, составляемых для нее в иностранной коллегии, т. е. в секретариате Бестужева. Это было равносильно приглашению Екатерины вести тайную переписку, столь часто практикуемую в то время. Она не преминула последовать этому приглашению. В это же самое время в Петербург приехал кавалер Мальтийского ордена итальянец Сакромозо.

В России давно уже не появлялось мальтийских кавалеров. Его очень чествовали; он был приглашен на все празднества и приемы, как официальные, так и интимные. Однажды, целуя руку великой княгини, он сунул ей записку: «От вашей матери», пробормотал он чуть слышно. Вместе с тем он сообщил ей, что музыкант великокняжеского оркестра, его соотечественник Ололио, возьмется передать ему ответ. Екатерина быстро спрятала записку в перчатку. Ей, вероятно, не впервые приходилось это делать. Сакромозо, впрочем, не обманул ее; письмо было действительно от ее матери. Написав ответ, она впервые стала прилежней следить за концертами своего мужа. Музыки она не любила. Указанное ей лицо, увидев, что она приближается, вполне естественно вытащило платок, оставив карман своего кафтана широко раскрытым. Екатерина бросила свою записку в этот импровизированный почтовый ящик, и с этой минуты переписка установилась и продолжалась во все время пребывания Сакромозо в Петербурге.

Вот каким образом случается, что сводятся к нулю и мудрость государственных мужей и мощь императрицы, когда они не считаются с другой мощью, именуемой молодостью, и с другой мудростью, предостерегающей от злоупотребления властью!

## II

Приставив к Екатерине гувернантку, одновременно постарались отдалить от нее всех лиц, составлявших ее обычное общество и интимный кружок. Она приветствовала с радостью отъезд голштинца Брюммера, тем более что должность гофмаршала великокняжеского двора была замещена князем Репниным: «Это – любезнейший русский вельможа и умнейшая голова», писал о нем д'Альон. Сама Екатерина его очень ценила и питала к нему большое доверие. К несчастью, он недолго оставался на своем посту и был заменен хоть и влюбчивым, но нелюбезным Чоглоковым. Екатерина его терпеть не могла, и его любовь к ней не обезоружила

ее. Вскоре поочередно исчезли все слуги великой княгини. Ее лишили даже любимой горничной-финляндки. Настала очередь и преданного Тимофея Евреинова, дававшего ей, однако, хорошие советы. Правда, он оказывал ей услуги, которые не всегда могли казаться таковыми в глазах других, например, он передал ей письмо от Андрея Чернышева, проезжавшего через Москву, по дороге в Сибирь. Сам Тимофей был сослан в Казань, где был полицмейстером, а затем дослужился до чина полковника. Так делались тогда дела в России!

Он был честен и, по-видимому, не обогатился на своем посту, так как через шестнадцать лет, вскоре после своего вступления на престол, Екатерина писала Олсуфьеву: «Я тебе поручаю выбрать место, или, одним словом сказать, хлеба дать Андрею Чернышеву, генерал-адъютанту бывшего императора, да отставному полковнику Тимофею Евреинову... *Au nom de Dieu, défaites-moi de leur prière; ils ont souffert pour moi autre fois et je leur laisse battre le pavé, faute de savoir quoi en faire*».

Бестужев направил свои удары, главным образом, против иностранцев, состоявших при особах великого князя или великой княгини или пользовавшихся их доверием. 29 апреля 1747 г. д'Альон возвещал об отбытии в Германию Бредаля, «обер-егермейстера великого князя, как герцога Голштинского», Дюлешинкера, его камергера, племянника Брюммера, Крамса, его камердинера, «состоявшего при его высочестве с малолетства», Штелина, «учителя истории», и Бастьена, его егеря. Из иностранцев оставались при дворе лишь фельдмаршал Миних, не имевший никакого влияния, и Лесток, «поддерживаемый своим ланцетом, некоторыми понятными опасениями и знанием бесчисленного множества анекдотов».

Вокруг Екатерины образовывалась все бóльшая пустота. В июне 1746 г. посланник Фридриха, друг и советник ее матери, Мардефельд, принужден был окончательно покинуть свой пост. Два года спустя на придворном балу она хотела подойти к Лестоку, но он уклонился от разговора с ней. «Не подходите ко мне», прошептал он: «Я в подозрении», и добавил еще раз: «Не подходите!» Он был красен, глаза его блуждали, Екатерине показалось, что он был пьян. Это происходило в пятницу 11 ноября 1748 г.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.